

# Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

## «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ХОЛЕРА»

Предисловие Б. Резникова  
Комментарии К. Федорова

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ РОБЕСПЬЕР

Тургенев в пылу раздражения назвал Добролюбова «литературным Робеспьером». Тургенев не подозревал, при этом, какой замечательной похвалой награждает он своего противника. Но самое замечательное состоит в том, что эта похвала была недалеко от истины.

Несомненно Добролюбов мог бы быть и не только литературным Робеспьером. По воззрениям своим это был законченный революционер-якобинец, не признававший никаких компромиссов, соглашений и уступок. Жгучей ненавистью ненавидел он либералов, просвещенных бар, пекущихся якобы о благе народном, вымаливающих для народа милостыню.

«Милостыней,— писал Добролюбов в статье против Бабста,— не устраивается быт человека; тем, что дано из милости, не определяются ни гражданские права, ни материальное положение. Если капиталисты и лорды сделают уступку работникам и фермерам так — или такую, которая им самим ничего не стоит, или такую, которая им даже выгодна. Но как скоро от прав работника и фермера страдают выгоды этих почтенных господ,— все права ставятся ни во что и будут ставиться до тех пор, пока сила и власть общественная в их руках».

Это — прямой призыв к революции, проистекающий из твердой уверенности, что без революции, без завоевания власти и уничтожения дармоедов никаких прав трудящиеся классы не получают.

Не случайно, что Добролюбов, разделяя всех людей на два класса: народ — трудящиеся массы и враги народа — образованное общество, безоговорочно причислял к врагам народа всех либералов и сторонников правительственных реформ. Это был настоящий революционер — один из штурманов надвигающейся бури, как правильно назвал однажды Герцен лагерь Чернышевского-Добролюбова.

Но революционная буря не разразилась, и Чернышевский был на долгие десятилетия замурован на каторге, а Добролюбов угас в самом начале своей блестящей деятельности.

Не мало было охотников изобразить дело так, что царское правительство поставило Чернышевского на плаху, а затем сослало на каторгу (этого несомненно не избежал бы и Добролюбов) при всеобщем возмущении так называемого «образованного общества». Это — явное преувеличение, свидетельствующее лишь о том, что кое-кто не хотел замечать классового размежевания в этом самом «обществе». В действительности царская камарилья, расправясь с Чернышевским, не без основания рассчитывала на сочувствие или во всяком случае на некоторый доброжелательный нейтралитет со стороны известной части либерально настроенной интеллигенции, не говоря уже о «просвещенных барах». Либералы ненавидели революционных демократов так же, как последние ненавидели либералов. Естественно, что они более или менее откровенно, более или менее приглушенно аплодировали расправе с Чернышевским.

Добролюбов, так же как и Чернышевский, был выразителем революционных устремлений задавленного крепостническим гнетом крестьянства. Это со всей определенностью подчеркивается Лениным.

Непримиримый враг существовавшего тогда строя Добролюбов прекрасно понимал, что дело не сводится к тому, правильную или неправильную политику ведет царское правительство. Он понимал, что положение нельзя изменить только поправочками. Он понимал, что суть заключается в господстве эксплуатирующего класса над эксплуатируемыми. Поэтому он и был революционером.

О какой революции мечтал Добролюбов, к какой революции готовился? В России того времени, когда начала раздвигаться общественная деятельность Добролюбова, основным политическим вопросом был вопрос об освобождении крестьянства, об уничтожении крепостного права. Из двух возможных путей освобождения крестьян, а значит и развития России — путь реформы, т. е. освобождения крестьян сверху, и революционного освобождения крестьян снизу — Добролюбов конечно выбирал второй путь — революцию, прекрасно понимая, что только этот путь дает выход из положения.

Это нет никакой надобности доказывать, так как точка зрения Добролюбова отчетливо видна даже из вышеприведенной цитаты. Добролюбов мечтал о крестьянской революции и к ней готовился. Не случайно под понятие «народ» он подводил прежде всего крестьянство плюс остальные эксплуатируемые слои населения. Революционное значение и историческую роль рабочего класса он не понимал, да и не мог понять в условиях того времени. Первое слово русского марксизма было сказано лишь два десятилетия спустя после смерти Добролюбова.

Если бы отдельные огни крестьянского восстания, озарявшие крестьянскую реформу 1861 г. до и после ее проведения, превратились в пожар крестьянской войны, то Добролюбов конечно был бы одним из ее идеологов, вдохновителей, вождей.

Добролюбов не был типичным западноевропейским просветителем, ни типичным социалистом-утопистом. Известно отрицательное отношение Добролюбова к утопическому социализму Фурье, Оуэна и др. Добролюбов прямо издевался над утопическими проектами Фурье и противопоставлял этим проектам революционную борьбу трудящихся против своих эксплуататоров.

Плеханов утверждал, что у Добролюбова «чисто идеалистический взгляд на историю... Точно такими же идеалистами были французские материалисты Дидро, Гольбах, Гельвеций», «Основное положение этого рода исторического идеализма гласит, что мнения правят миром». И далее: «В его лице (т. е. в лице Добролюбова) мы имеем типичного просветителя».

Ни одного из этих плехановских утверждений нельзя признать правильным.

Разумеется у Добролюбова не было законченных материалистических взглядов на историю. Но он не был и чистым идеалистом. В значительной части своих высказываний по вопросам истории он ближе к материализму, чем к идеализму. Он утверждал например, что «борьба аристократии с демократией составляет содержание истории» (Соч., 1876 г., т. I, стр. 468). По существу — это перефразировка первого положения Коммунистического манифеста.

В другом месте Добролюбов подчеркивает закономерность исторического процесса:

«Более внимательное рассмотрение открывает всегда, что история в своем ходе совершенно независима от произвола частных лиц, что путь ее определяется свойством самих событий, а вовсе не программой, составленной тем или другим историческим деятелем». Далее Добролюбов говорит о «неизбежной связи и последовательности событий».

Это еще не исторический материализм, но это уже и не «типичное просветительство». Где же тут тезис «Мнения правят миром», где тут ссылка на отвлеченный разум? Добролюбов наоборот спорит здесь с «типичным просветительством». Не менее определенно высказывался Добролюбов и о роли личности в истории. Как известно, французские материалисты, под схему которых Плеханов подгоняет Добролюбова, придавали большое значение исторической личности. Они прямо возлагали

надежды на просвещенного государя, философов, которые будут управлять государством и которые выведут людей из заблуждений. А вот что писал Добролюбов:

«Не хотят понять, что ведь историческая личность, даже и великая, составляет не более, как искру, которая может взорвать порох, но не воспламенить камень».

«Не хотят понять, что вследствие исторических-то обстоятельств и являются личности, выражающие в себе потребности общества и времени» (Соч., т. I, стр. 560).

Что это не было случайным высказыванием, можно было бы подтвердить большим количеством аналогичных выдержек из сочинений Добролюбова.

Ограничимся только одной:

«Не потому известное направление, — пишет Добролюбов, — является в известную эпоху, что гений принес его откуда-то с другой планеты, а потому, что элементы уже выработались в обществе и только выразились и осуществились в одной личности более, чем в других» (Соч., т. II, стр. 6).

Надо ли еще доказывать, что Плеханов ошибался, утверждая, что Добролюбов целиком разделял положение «Мнения правят миром»? Нет, Добролюбов считал, что мнения есть продукт закономерного общественного развития. Подлинный стержень исторической закономерности он еще не видел, не понимал. Поэтому правильно утверждение, что Добролюбов не был диалектиком-материалистом. Но ошибочно подгонять Добролюбова под «точно таких же исторических идеалистов, как Дидро, Гольбах, Гельвеций». Эта схема смазывает революционный якобинизм Добролюбова, его решительную борьбу с либерализмом и «реформизмом». Именно такую ошибку допускает и т. Кирпотин, идущий в оценке Добролюбова по стопам Плеханова. В своей статье в № 3 журнала «РАПП» т. Кирпотин не раскритиковал меньшевистской трактовки Добролюбова Плехановым. Тов. Кирпотин пишет:

«Совершенно естественно, что преобразование общества на новых началах зависит у Добролюбова в конечном счете от распространения образованности», «Всю прошлую историю человечества Добролюбов рисовал как плод заблуждения», «Коренная причина прогресса человечества заключается, по мнению Добролюбова, в прогрессе знаний», «Добролюбов был материалистом-метафизиком, материалистом-просветителем».

Что касается утверждения, будто Добролюбов рассматривал всю предыдущую историю человечества как плод заблуждения, то после сказанного едва ли необходимо это опровергать.

Добролюбов указывал на закономерность исторического развития и высказывал гениальную догадку: «уничтожение дармоедов и возвеличение труда — вот постоянная тенденция истории». Добролюбов поднимался порой до понимания неизбежности социальной революции, которую совершит сам народ, подготовленный к тому всем историческим процессом. И совершеннейшим поклепом на него, полным непониманием того, чем был Добролюбов, является утверждение, будто бы он считал весь исторический процесс плодом заблуждения или что он будто бы, точно так же как и французские материалисты, только полагал, что «мнения правят миром». Не надо забывать, что Гегель жил после французских материалистов, что учение Гегеля не прошло бесследно для Добролюбова. Не надо забывать, что Добролюбов был фейербахианцем. Но несомненно также, что Добролюбов шел дальше Фейербаха в вопросах истории. Он пытался — и часто небезуспешно — нащупать материалистические корни исторического процесса.

Гораздо серьезнее выглядит другое утверждение, будто Добролюбов видел единственный способ преобразования общества на новых началах в распространении образованности. Если это было бы так, то нечего было бы и говорить, что Добролюбов был революционером. Совершенно необоснованным было бы указание Ленина на ярко выраженный революционный демократизм Добролюбова. В самом деле, если преобразование общества на новых началах зависит в конечном счете от распространения образованности, то революционность становится проблематичной и на первый план выступает голое просветительство. Добролюбов «в конечном счете» превращается в либерала. Но страшен сон, да милостив бог. Вот что говорил сам Добролюбов о роли распространения образованности:

Во-первых:

«Всеми средствами образованности... владеют неработающие классы, которым нет никакой выгоды передавать оружие против себя тем, чьим трудом они пользовались до сих пор даром. Следовательно без участия особенных необыкновенных обстоятельств нечего и ждать распространения образования в народных массах» (Соч., т. II, стр. 62).

Надо ли объяснять, что «особенные необыкновенные обстоятельства» есть не что иное как революция? Надо ли еще объяснять, что распространение образования Добролюбов ставит в зависимость от революционной борьбы? Надо ли наконец пояснить, что Добролюбов видел и указывал иной путь преобразования общества на новых началах, чем путь распространения образованности?

Во-вторых:

«Холод и голод, отсутствие законных гарантий... всегда действуют несравненно возбуждательнее, нежели самые громкие и высокие фразы о справедливости. И наоборот: материальное довольство успокаивает его несравненно более, нежели проповедь о кротости и благодушном терпении».

«Образованность ведет только к большей или меньшей степени ясности сознания и затем к умению формулировать то, что сознается». «Но и не сформулированное страдание есть страдание, и оно рано или поздно проявится на деле».

Кажется ясно, что Добролюбов понимал классовый характер распространения образованности, что «образованность» испытывается господствующими классами для усиления эксплуатации, что распространение образования ведет лишь к большей или меньшей степени ясности сознания, что решающим является отнюдь не образование.

В-третьих:

«С развитием просвещения,—говорит Добролюбов,—в эксплуатирующих классах только форма эксплуатации меняется и делается более ловкой и утонченной, но сущность все-таки остается та же, пока остается попрежнему эксплуатация».

Яснее кажется и быть не может. Добролюбов как будто бы предвидел старания некоторых современных исследователей, которые постараются причислить его под вполне благонамеренного либерала-просветителя, и не оставил ни тени сомнения о своих взглядах на просвещение. Конечно Добролюбов не был пролетарским революционером, так же как он не был научным социалистом. Социализм, как это можно судить по его дневникам, он представлял себе довольно наивно. Но политически важной для нас является правильная оценка Добролюбова как одного из предшественников пролетарской революции в нашей стране. Разумеется в полном собрании сочинений великого критика можно найти две-три цитаты, которые свидетельствовали бы о переоценке Добролюбовым «распространения образованности». Но, во-первых, для нас важен самый характер мировоззрения и деятельности Добролюбова, а во-вторых, во всем его собрании сочинений вы не найдете ни одной строчки, ни одного слова, которое свидетельствовало бы о том, что Добролюбов не революционер, что он либерал.

Плеханов называл Добролюбова типичным просветителем и причислял его под либерала в то время, когда Плеханов уже окончательно изменил революции, когда он стал сторонником «мирной революции». Естественно, что Плеханов был политически заинтересован в том, чтобы причислить Добролюбова под мирного культуртрегера. И не только Плеханов. Об этом старались и другие меньшевики. Это типичная меньшевистская точка зрения на Добролюбова. Вот что писал Ленин в 1912 г. в связи с брошенной Н. Рожковым фразой о том, что «не надо делать себе иллюзий: готовится торжество весьма умеренного буржуазного прогрессизма»:

«Объективный смысл этого крылатого слова: революция — иллюзии, поддержка «прогрессистов» — реальность. Ну неужели же не видит теперь всякий, кто не закрывает нарочно глаза, что именно это говорят чуточку иными словами Даны и Мартовы, когда бросают лозунг: «вырывание Думы (четвертой Думы, помещицкой Думы) из рук реакции»?... когда удовлетворяются на деле легальной платформой, легальными покушениями на организацию? когда создают ликвидаторские «инициативные группы», разрывая с революционной РСДРП? Неужели не ясно, что ту же песенку

поют и Левицкие, философски углубляющие либеральные идеи о борьбе за право, и Неведомские с их новым «пересмотром» идей Добролюбова задом наперед, от демократизма к либерализму»... (Собр. соч., 2-е изд., т. XV, стр. 459).

Нет надобности повторять здесь, что Ленин рассматривал демократизм Добролюбова как революционный демократизм. Важно здесь то, что Ленин совершенно правильно ставит в связь ликвидаторскую политику меньшевиков с «пересмотром» идей Добролюбова задом наперед. Следовательно это дело не простой ошибки, это — политическая оценка. Меньшевикам нужно было рассматривать Добролюбова применительно к либерализму. Не ясно ли теперь, откуда выросла оценка Плехановым Добролюбова?

В другом месте, уже в 1918 г., Ленин снова подчеркивает революционность Добролюбова:

«Современным «социал-демократам» оттенка Шейдемана или, что почти одно и то же, Мартова так же претят Советы, их так же тянет к благопристойному буржуазному парламенту, или к учредительному собранию, как Тургенева 60 лет тому назад тянуло к умеренно-монархической дворянской конституции, как ему претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского» (Собр. соч., т. XXII, стр. 467):

Здесь очень интересна аналогия, проводимая Лениным: Мартов относится к большевикам, к советам, как Тургенев относился к Добролюбову, к Чернышевскому. Политический момент в оценке Добролюбова подчеркнут со всей определенностью. Разве не понятно теперь, почему меньшевики, и прежде всего Плеханов, старались задним числом обелить Добролюбова, сделать его своим, т. е. показать как типичного просветителя, точно такого же, как просветители XVIII века?

Указывая на просветительство Добролюбова, мы ни в коем случае не должны забывать, что просветительство-то ведь бывает разное. К типичным буржуазным просветителям Добролюбова и Чернышевского никак не отнесешь. Самым характерным для них является их революционный «мужицкий демократизм». Эту их черту всячески подчеркивал Ленин.

Типичным просветителем Ленин называет буржуазного писателя 60-х годов Скалдина, который полагал, что государственная власть может «постепенно и неослабно» устранять причины, мешающие развитию крестьянского хозяйства. «Если, — писал Скалдин, — закон не будет стеснять у нас естественного распределения рабочих сил, то в России действительными пролетариями могут быть только люди, нищенствующие по ремеслу, или неисправимо порочные и пьянствующие». Ленин замечает по этому поводу: «Типичная точка зрения экономистов и «просветителей» XVIII века», добавляя при этом, что Скалдин конечно буржуа так же, как вожаками буржуазии были и просветители XVIII века (Собр. соч., т. II, стр. 313).

Но разве буржуа Скалдин и революционный разночинец, мужицкий демократ Добролюбов это одно и то же? Стоит только поставить этот вопрос и нелепость его становится ясной. Но вместе с тем ясным также становится, что Плеханов неправильно, по-меньшевистски оценивал Добролюбова.

Ленин неоднократно противопоставлял революционность Добролюбова реформизму меньшевиков. Так 1 января 1917 г. Ленин, издеваясь над легальным реформизмом Каутского и компании, писал: «...Даже в крепостной России Добролюбов и Чернышевский умели говорить правду то молчанием о манифесте 19 февраля 1861 г., то высмеиванием и шельмованием тогдашних либералов, говоривших точь в точь такие речи, как Туратти и Каутский» (Собр. соч., т. XIX, стр. 371).

Разве это случайное противопоставление Добролюбова меньшевизму? Неужели это неясно даже ребенку? Право же стыдно объяснять «теоретикам» такие элементарные вещи!

Огромный интерес для правильного понимания развития умонастроений Добролюбова и классового характера этих умонастроений представляют его дневники. Вот что он записывает в дневнике в начале 1855 г.:

«Нужно ясно поставить свое положение. Что я такое? Бедный студент, которого все достойные заключается в 30 рубл. серебром, находящихся в долгах у разных лиц,

да в голове и руках, которые он еще не знает куда деть... Как средство — опять только я, но я без средств... что же тут делать?»

Естественно поэтому, что «наша родная Русь более всего занимает нас своим великим будущим, для которого хотим мы трудиться неутомимо, бескорыстно, горячо». «К несчастью я очень ясно вижу и свое настоящее положение, и положение русского народа в эту минуту». «Я как будто нарочно призван судьбой к великому делу переворота!.. Сын священника, воспитанный в строгих правилах христианской веры и нравственности, родившийся в центре России, проводит первые годы жизни в тесном соприкосновении с простым и средним классом общества. Наконец, вырвавшись на свет божий, увидел все, что в нем возмутительно пошло и несправедливо».

Эта блестящая самохарактеристика дает ключ к пониманию того, как сложилось мировоззрение Добролюбова. Уже в это время, т. е. 19 лет отроду, он отдает себе отчет в том, что он «призван к великому делу переворота», хотя в это время он еще не отделался окончательно от глубокой религиозности, которая была внушена ему с детства. Дневники показывают, что избавление от религиозного дурмана у Добролюбова шло одновременно с формированием революционного сознания.

Можно было бы проследить по многочисленным выпискам из дневника Добролюбова, как формировался его революционный характер, как наивно-добродушные записки в духе христианской любви к ближнему превращались с годами в сарказмы и издевки по адресу либералов и пошляков. Ограничимся небольшими примерами.

В дневнике 1857 г. уже появляются такие характеристики людей: «я ему сказал, конечно, обиньяками, что он дурак и мерзавец, но он понял меня только наполовину, да и то, конечно, не поверил мне». А вот другой либерал за сытным обедом, придя от бифштексов в кровожадное расположение, «выразил свое убеждение, что нужно убить всех дураков. Мне ужасно хотелось, — добавляет Добролюбов, — сказать ему, что в таком случае следовало пачать с самоубийства, но к счастью я вспомнил во-время, что это будет грубость, и удержался».

Эти желчность и сарказм отнюдь не были плодом случайной или болезненной раздражительности. С друзьями, с единомышленниками, с людьми из народа Добролюбов был трогательно добродушным человеком до конца своих дней. Суть лишь в том, что он по-разному стал относиться к людям разных классов. Интересно при этом отметить, что он сознательно воспитывал в себе ненависть и желчность. Избавляясь от религиозного дурмана, он требовал от самого себя непримиримости к «образованному обществу», т. е. к врагам народа. В том же 1857 г. он делает такую запись в свой дневник: «Вчера ни с того ни с сего вдруг мне пришла охота учиться танцовать... Чорт знает что такое... Как бы то ни было, а это означает во мне начало примирения с обществом... Но я надеюсь, что не поддамся такому настроению. Я должен заставить себя не делать уступок обществу, а напротив держаться от него подальше, питать желчь свою...»

Так рос и развивался «литературный Робеспьер» — Добролюбов.

Лебедев-Полянский в предисловии к дневникам пытается «смягчить» характер религиозности раннего Добролюбова. Ему очевидно кажется, что религиозность в юные годы компрометирует Добролюбова. Поэтому, видите ли, «встает большой вопрос о том, какого характера были религиозность и благочестие юноши. Был ли он приверженец церкви как строгий защитник ее догматов и обрядов, или же его благочестие носило характер моральный».

Поставив этот большой — очень большой и важный, не правда ли, — вопрос, Лебедев-Полянский отвечает: «Анализ всей жизни Добролюбова вскрывает, что религиозность юноши была нравственного порядка».

Во-первых, это не верно — Добролюбов в юные годы был именно защитником церковных обрядов, религиозных догматов. Об этом красноречиво говорят сами дневники. Во-вторых, такая ли уж это большая разница?

Нет никакой надобности подкрашивать Добролюбова под революционера со дня рождения, так же как нет никакой надобности причислять его под типичного либерального просветителя; и то и другое не верно и политически вредно.

\* \* \*

Повесть «Провинциальная холера» написана Добролюбовым в 1855 г., в тот период, когда он все дальше и дальше отходил от религиозности своих юных лет, хотя еще окончательно с нею не расстался. Религиозный порыв, правда, порыв уже сомневающегося в религии человека, мы встречаем у Добролюбова еще и год спустя. На повести однако ни в малейшей степени не сказались остатки религиозных настроений автора. Наоборот. Он издевается в ней над предрассудками, свойственными религиозным людям, и несомненно бывшими в свое время и у самого автора. Местами он прямо высмеивает известные религиозные положения, например надежду, которая дает спасение. А по поводу известного евангельского изречения «ищите и обряцете» Добролюбов не без издевки замечает: «это изречение, в других случаях приложимое всегда наоборот, на этот раз оправдалось совершенно».

Своего рода юмор, переходящий в сатиру по отношению к ходячей мудрости, вообще характерен для этой повести. «Сколько ни твердите, что от малых причин бывают великие следствия, но на деле гораздо чаще бывает наоборот, т. е. великие предприятия и приготовления оканчиваются действиями весьма не гигантских размеров».

В этих замечаниях, разбросанных по всей повести, выражается внутренний рост автора, который начинал по-иному смотреть на мир, автора, начавшего критически пересматривать свое отношение к окружающей его действительности.

В этой биографической значимости основная ценность повести, представляющей с точки зрения художественной незначительный интерес.

Содержанием повести является несколько расширенный анекдот из провинциальной жизни. Острые содержания повести направлено против общественных предрассудков, о чем свидетельствует и эпиграф к ней. Автор разоблачает пошляка Тропова и «мирное житие» определенных социальных кругов провинции. В этой повести Добролюбов еще не поднялся ни до сколько-нибудь серьезных идейных обобщений, ни до художественного анализа. Может быть не следует так уж сильно укорять Панаева за то, что он забраковал эту повесть.

Нельзя не отметить также некоторую общность стиля этой повести со стилем романа «Что делать?» Чернышевского, хотя конечно последний нельзя сравнить с «Провинциальной холерой» в художественном отношении — настолько он выше. Укажу лишь на одно место.

«Не буду я описывать вам, мой воображаемый читатель, сцену, которая произошла между молодой девушкой и молодым человеком, не буду описывать ее потому, что надоели уже и мне самому все подобные сцены, тысячу тысяч раз повторенные с незначительными изменениями во всех повестях и романах. Естественно желая угодить моим читателям, я решился предоставить каждому из них право обратиться для воссоздания этой сцены или к своим собственным воспоминаниям, или к первой попавшейся под руку повести».

Кто читал роман «Что делать?», тот легко сравнит это место с публицистическими отступлениями Чернышевского, с тем, как он запросто, прерывая нить повествования, обращается к своему читателю. У Добролюбова это не было подражанием. Роман «Что делать?» был написан только в 1863 г. Ясно также, что это не было случайной манерой писателя. Это был элемент стиля, характерный для этой социальной группы. Здесь не место подробно разбирать характер и корни этого стиля. Мы хотели здесь только отметить, что Добролюбов и Чернышевский были единомышленниками не случайно. Это сказалось и в их художественной продукции.

О Добролюбове уже написано очень много и книг, и статей. Несмотря на это, а вернее именно поэтому потребность в хорошей большевистской книге о Добролюбове еще остается неудовлетворенной насущной потребностью. Меньшевики пытались «пересмотреть» идеи Добролюбова задом наперед, применительно к своей меньшевистской подлости. Нам надо воссоздать правдивый образ Добролюбова, этого «литературного Робеспьера», из которого мог бы выйти Робеспьер не только литературный.

Б. Резников

## ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ХОЛЕРА

Страшась какой-то силы тайной,  
Живут, склонившись под ярмом,  
И дело глупости случайной  
Чтут часто божием судом...

## [I]

Медленно и задумчиво шел молодой чиновник Павел Гаврилович Изломов по одной из улиц города N. Вероятно, его занимали мысли слишком серьезные и мрачные, потому что он не примечал, казалось, ни яркого света теплого майского солнца, который падал прямо ему на лицо, ни даже того, что из окон некоторых домов посматривали на него хорошенькие глазки. В самом деле, в это время было над чем призадуматься каждому жителю N: в городе свирепствовала холера, и уже не мало своих друзей и знакомых проводил Изломов на тот свет. Теперь он подумал о том, что если вдруг его скрутит холерою!.. И при этой мысли он сделал весьма жалкую физиономию... Вдруг позади его раздался голос, который называл его по имени. Павел Гаврилович обернулся, несколько времени всматривался в наружность молодого человека, стоявшего перед ним, и наконец вскричал с удивлением:

— А-а-а!.. Иван Васильевич!.. Какими судьбами?..

И он готов уже был засыпать его сотнею вопросов, но вдруг вспомнил, что Иван Васильевич Тропов, стоящий перед ним, человек петербургский и, чего доброго, еще вздумает осмеять его провинциальное любопытство. Поэтому он удержал свои любознательные стремления, очень хладнокровно выслушал ответ Тропова, что он прямо из Петербурга, и употребил всю силу своей воли, чтоб не разразиться расспросами: почему, для чего, на долго ли и пр.

Они пошли вместе. Изломов ни о чем не спрашивал более и начал перекидываться с своим приятелем обыкновенными пустыми фразами, стараясь не высказывать ни к чему ни сочувствия, ни увлечения. В этом выражался, по его мнению, bon ton высшего сорта.

— Однако у вас здесь настоящее царство ужаса, — сказал наконец Тропов, наскучивши подобным разговором.

— Да, ужасное бедствие поражает бедных жителей, — отвечал Павел Гаврилович, теряя на минуту свое спокойствие.

— Бедствие само по себе: это беда не великая, а главное — во всех жителях здешних царствует ужас, самовластно и неограниченно, — повторил Иван Васильевич.

— О, да, именно — ужас всех объял здесь от мала до велика, — ответил Изломов и счел обязанностью приятно и скромно улыбнуться.

Холера была такой предмет, что увлекла бы в те времена и не Павла Гавриловича, и потому не нужно удивляться, что она оживила разговор двух приятелей. Притом Иван Васильевич начал рассказывать свои наблюдения, — а он-таки любил поговорить.

— Вообразите, — говорит он, — я узнал в первый раз о здешней холере верст за 15 отсюда в деревне, где я спросил себе холодного молока в самый полдень... Мужик, у которого я остановился, никак не хотел дать мне молока, уверяя, что это вредно — в жаркий полдень пить холодное... Нынче, вишь, ваша милость, говорит, время-то негодное. Я сначала еще не догадывался и удивлялся, откуда пришло ему в голову так заботиться о моем здоровье... Наконец узнаю: старик объявляет, что им приказано наблюдать всякую осторожность против холеры, особенно же не пить в жаркий день холодного. Да тебе что ж до меня-то за дело? — спрашиваю его. — Ведь не



ты умрешь; я тебя пить не заставляю.— Да оно, сударь, совершенно так вы изволите говорить, — рассуждает он очень хладнокровно, — да ведь неравно как схватит, так тут и нам не уйти, здесь же не город, средства никакого нет... Что станешь делать против такой логики?

— Конечно, это для вас было очень досадно; но кто знает, может быть, он этим спас вашу жизнь...

— Да не беспокойтесь, — ведь он все-таки исполнил мое требование... Только нужно было ему подороже заплатить и притом дать вперед деньги... Тотчас побежал и принес мне молоко прямо со льду. И потом, представьте мое изумление, — но только что я выехал из этой избы и еще не успел подивиться точности, с какой исполняются в этой деревне врачебные предписания, как в нескольких шагах оттуда встретил несколько пьяных мужиков, у которых уже начинался кажется первые симптомы холеры. Их скоро окружила большая толпа. Спрашиваю, как же это у вас позволяют пить в такое опасное время? — Э, барин, отвечают мужики, уж воля Господня!.. Все едино умирать-то!... А с горя как не выпить....

Изломов засмеялся, стараясь примирить неприятное чувство, возбужденное в нем по случаю неудачной догадки о спасении жизни Ивана Васильевича.

А он между тем продолжал, все с возрастающим одушевлением, хотя голос и руки его оставались попрежнему в границах, предписанных приличием:

— Еду дальше: встречается целая сотня баб с котомками, такие все унылые, и из конца в конец этой толпы разносится слово умереть в различных его грамматических видоизменениях.— Что такое? — спрашиваю.— Ах, барин, на беду ты едешь, — кричит одна; — не ездить бы тебе, — советует другая; — мы вот и то бежим из городу-то, — объясняет третья... — Э, чорт вас побери, чтоб вам передохнуть всем, посылаю я им вдогонку, раздосадованный зловещими толками... И ровно ничего от них не добился. Не успел проехать версты, смотрю, толпа извозчиков едет.— Куда? спрашиваю.— Из города, — отвечает тотчас, уразумевши цель вопроса, один из них; — больно там валит, так за доброе дело убраться лучше... Ну, думаю себе, весело должно быть в самом городе. Подъезжаю к заставе, смотрю — на столбе объявление: по случаю появления эпидемической холеры... дальше я не успел рассмотреть. Еду городом — попадает на дороге старый знакомец-доктор, также к удивлению моему с кислой физиономией, вероятно приспособляясь к обстоятельствам. Наконец — приезжаю к гостинице, у входа ее прибито то же объявление, а в общей зале прежде всего бросается мне в глаза листок губернских ведомостей, в которых напечатан какой-то рецепт против холеры. Ну, скажите же, пожалуйста, возможно ли от нее избавиться, когда она преследует вас всюду и везде является вам в виде различных объявлений, рецептов, печальных лиц, нелепых разговоров... Чем бы отдалать и прогонять эту болезнь, а вы всячески стараетесь прибить ее к себе...

— Но, как хотите, это время общественных бедствий всегда отражается на физиономию самого города. Для всякого необходимо принять некоторые предосторожности, всякий опасается — если не за себя, то за своих родных и друзей, наконец всякий принимает участие в общем ходе болезни, хочет узнать... Естественно, теперь все заняты одним разговором. Вот и мы с вами....

— Что же прикажете делать? Здесь не блеснешь оригинальностью... Однако всмотритесь, как хороши ваши средства... Вы идете мимо аптеки и видите около нее беспрестанный прилив и отлив народу с ужасающими лицами и толками о холере. Вы и сами начинаете сильно трустить и думаете, что в городе умирает несколько сот человек в день. А между тем эти люди

хлопочут только еще о предохранении себя от болезни... умирающих всего двадцать-тридцать человек... Вы встречаете доктора, который, подъехав к бирже, берет без торгу на неопределенное время первого попавшегося на глаза извозчика и отпускает своих лошадей потому, что те уже больше не бегут... Вы делаете печальные заключения о силе болезни, но вы не знаете, что этот доктор имел благоразумие в здоровое время прикомандироваться к четырем присутственным местам, обязавшись лечить всех чиновников с их чадами и домочадцами. В обыкновенное время он ездит в каждую палату раз в месяц для получения жалованья, но теперь должен показать всю свою деятельность, потому что всякий, напуганный холерой, платит все, что только может. (Это, кажется не имеет отношения к... [последние два слова неразборчивы; фраза не окончена.— Р е д.] .

— Зайдите ко мне,— перебил Ивана Васильевича его приятель, остановившись у ворот одного довольно красивенького и новенького домика.— Там мы можем поговорить свободнее.

— Да у вас тоже скляночки да баночки, и все комнаты, я думаю, надушены мятой, а на окнах предохранительные средства.

— Вы видите, на окнах у меня цветы, правда не душистые...

— А это даже хорошо; я вообще не цветовод, а душистых цветов терпеть не могу... Так, пожалуй, пойдемте...

И они пошли.

Если предполагаемого читателя утомил этот разговор, то ему предоставляется возможность отдохнуть, занявшись некоторыми частными сведениями об этих приятелях, так странно рассуждающих об одном из неприятнейших предметов на свете.

Один из них, Тропов, молодой человек лет 25 или 26, живет в Петербурге и, разумеется, чем-то служит там, а потому и считает себя петербуржцем, хотя по рождению и даже частью по воспитанию он тоже провинциал и именно из этого самого города N. Происходил он от высокоблагородных и не бедных родителей, учился в губернской гимназии и потом в университете, а затем поступил было на службу в N. Но Петербург, заманчивый предмет сладких мечтаний для всех провинциальных юношей с каким-нибудь образованием, увлек и нашего Ивана Васильевича. Он уехал и через три года воротился оттуда таким дэнди, таким образом светскости, таким знатоком итальянского языка и с таким злым или, лучше,— вострым языком, что в него не замедлила влюбиться одна слабо-нервная, сентиментальная барышня, имевшая хорошенькое добродушное личико, 200 [нрзб] душ приданого и образование, достаточное для того, чтобы не удивляться никакому ученому вопросу. Тропов скоро заметил это и, как он сам, несмотря на видимую свою холодность и насмешливость, имел доброе и чувствительное сердце и притом порядочный запас легкомыслия, то скоро на него подействовала эта пылая любовь, и он, не думая много, справился у верных людей о приданом и предложил свою руку и сердце плененной им особе, называвшейся — скажем кстати — Надеждой Семеновной. Родители Наденьки были непрочь от такого союза, потому что как бы то ни было жених служил в Петербурге и они знали за ним в былое время порядочное состояние. Ивану же Васильевичу это было очень кстати: от родительского наследия осталась у него деревня в десять дворов, да и ту бы он продал, если бы мог обойтись без того, чтобы не говорить своим приятелям, что ему прислали или не прислали денег из деревни. Таким образом все уладилось, но родители непременно хотели сыграть свадьбу (почему это) не раньше, как через полгода, и Иван Васильевич с новыми надеждами и мечтами снова отправился в Петербург с тем, чтобы через полгода возвратиться в N. Насладившись на досталых холостой жизнью и наделавши новых долгов, он приехал теперь сюда жениться и —

встретил холеру, которая препятствовала, конечно, всем свадебным веселостям. И вот причина его ужасной филиппики на уныние жителей и на внимательность их к такой ничтожной вещи, как эта негодная болезнь.

Что касается до Павла Гавриловича Изломова, другого приятеля, то это был собственно не приятель, а только старый знакомый Тропова, потому что они сидели некогда за одним столом в N-ской гражданской палате. Неученый, но жаждущий просвещения и не имеющий средств удовлетворить своему стремлению, он жадно слушал всех, кого считал выше себя по образованию, и потому был находкой для людей, которые ищут себе слушателей и (увы) часто не находят. Не имея своего убеждения, он жил убеждениями других, и, покорно выслушав ныне какое-нибудь новое мнение, на другой же день сообщал его всем своим знакомым как свое собственное; иногда при этом давал он заметить, что с его мыслями согласен и такой-то, известный ученостью или основательностью суждений. Если же его кто-нибудь оспаривал, то он, пожалуй, опять приходил к вам, которые высказали это мнение или поддерживали его, и начинал перед вами излагать свои возражения. Если вы опровергали возражения, он передавал от своего лица и опровержения по принадлежности и т. д. Случалось, что через посредство Павла Гавриловича долгое время производились очень интересные споры между лицами, совершенно незнакомыми друг с другом. И надобно ему отдать честь, он не ослаблял никогда силы доводов и вообще, уж если принимался говорить, то говорил, как по писанному. Бог его знает, где он приобрел себе такой высокий слог... Впрочем, в жизни и в обращении он был очень приличный молодой человек, хотя иногда это и дорого ему стоило.

Вот хоть бы теперь: как разгорелось его провинциальное любопытство, как ему хотелось засыпать Ивана Васильевича вопросами: и что, и как, и почему и т. д. Но *воп тон*, по его понятию, не позволяла этого, и он молчал. Да и Ивану Васильевичу была не совсем приятна такая скромность: ему непременно хотелось высказаться. Если бы его спросили: зачем он приехал, он сказал бы очень небрежно, будто нехотя: да так, старые дела нужно кончить, и после долгих расспросов проговорил бы с комич[еской] напыщенностью: сорвать одну звезду с вашего небосклона... Но Изломов упорно молчал об этом предмете (мне кажется — Изломов должен был знать, зачем приехал Тропов) и, поболтавши с четверть часа о том, о сем, Тропов решился сам заговорить... Для этого он возобновил сначала забытый было разговор о холере, что было, конечно, очень не трудно.

— Нет, я серьезно думаю, — заговорил он, — что все эти предосторожности ваши не только ни к чему не поведут а напротив — еще повредят... Согласитесь, что все эти печальные физиономии, эти мрачные предосторожности, это постоянное опасение — очень неблагоприятно действуют на расположение вашего духа, и следовательно на самое здоровье. Докторами давно уже признано, что бодрость духа — это лучшее средство против холеры.

— Однако же вы не можете отвергать и того, — возразил Изломов, — что нельзя пренебрегать болезнью, которая производит повсюду такие опустошительные действия.

— Зачем же пренебрегать? Кто вам говорит об этом? Только я не понимаю, что же вы выигрываете, когда все ваши предосторожности приносят больше вреда, чем пользы... Положим, что даже вы таким образом избегнете холеры, но скажите мне, можно ли целое лето, прекрасное провинциальное лето, прожить так, как вы собираетесь жить? Посмотрите, ведь весь ваш город превратился в лазарет, и всякий порядочный человек, проживши

в нем два-три месяца — непременно умрет не от холеры, так от диеты и лекарств, или, что еще ужаснее, просто от скуки.

— Вы судите по себе, — отвечал Изломов, — стараясь придать своему голосу ироническое выражение. — Конечно, я вас понимаю: человеку, который живет постоянно в столице, пользуется всеми удовольствиями петербургской жизни, трудно помириться с нашей провинциальной простотою и бедностью в увеселениях; ему, разумеется, скучно... Но мы, бедные провинциалы, так уже привыкли к этому, что нам кажется довольно сносным наш утомительно-однообразный, даже может быть на ваш взгляд пошлый быт...

— Полноте, пожалуйста, — отвечал Тропов, которому видимо не понравился иронический тон Павла Гавриловича. — Везде можно веселиться и наслаждаться жизнью, где только есть люди и где эти люди умеют здраво судить и сильно чувствовать...

— Да, но таких людей редко можно найти. И я сомневаюсь, чтобы здесь вы встретили кого-нибудь с суждениями и чувствами, которые бы соответствовали вашим.

— А я в этом не сомневаюсь, по крайней мере, в отношении к чувствам, — восторженно воскликнул Иван Васильевич и с торжествующим видом посмотрел на своего приятеля.

Этот был неприятно поражен его словами, которые он принял за хвастовство и потому отвечал довольно важно, хотя с некоторою робостью:

— Я понимаю под чувством не вечное, большое увлечение, но сильную, глубокую, искреннюю привязанность, основанную на взаимной симпатии, на известном отношении характеров... А такая привязанность едва ли может быть приобретена вдруг одними внешними достоинствами.

— Да с чего ж вы взяли, что я рассчитываю пленять ваших красавиц на здешних балах, которых, разумеется, никогда у вас не будет... Я вам говорю, может быть, о глубокой, давнишней привязанности, о любви, которой я пламенею уже несколько лет...

— В таком случае, это совсем другое дело, — отвечал озадаченный Павел Гаврилыч и, после минутного молчания, прибавил: — и можно узнать предмет этой страсти?

— Нет-с, уж я и то был с вами очень откровенен. Нельзя-с, нельзя-с, — шутливо повторял Тропов, потом встал, прошелся по комнате и, выгнув из рта сигару, громко зашел:

Есть тайна у меня. Глубоко  
запала в душу мне она...

Следующих стихов он не знал и потому тотчас же сел снова и начал с особенной живостью и необыкновенно веселым тоном:

— Вы видите теперь причину моего ожесточения против печальных предосторожностей и опасений, которые нашел я в вашем городе. Так как я уже проболтался вам каким-то образом, то лучше рассказать всю правду. Вы знаете Наденьку Быстрицкую?

— Знаю очень хорошо.

— Итак, честь имею вам представить ее жениха.

— Как? Вы...

— Я собственной особою нарочно взял отпуск, прискакал сюда из Петербурга, чтобы увенчать счастливым концом мою долголетнюю любовь; препятствий никаких нет, все шло прекрасно, — и как назло вмешалась тут эта несносная холера...

— Каким же образом она может служить препятствием вашему счастью?

— Конечно, может, потому что отец не хочет выдать за меня Наденьку, пока не прекратится холера.

— Отчего это?

— Он говорит, что не время думать о свадьбе, когда каждый день видим перед собою смерть. К несчастью, еще живет он на Кладбищенской улице,— так что каждого мертвого проносят мимо их дома... Он сам-то часто и не видит этого, так зато мать всегда сидит под окошками и горько плачет о чужих покойниках. Как ни придешь к ним, всегда рассказы о чьей-нибудь смерти или болезни,— просто тоску нагонят. Ну, и за себя опасаются, пьют разные предохранительные, морят себя диетой... Какая же тут свадьба?

— Да, точно. Я знаю Варвару Николаевну. Она чрезвычайно любит своего мужа и дочь и боится за них еще больше, чем за себя. Ее самое это очень изнуряет...

— Да, правда, войдите к ним в дом, — вы непременно подумаете, что кто-нибудь из семьи умер или умирает. Столько тут разных скляночек, бутылочек, сигнатурок аптекарских, такой горестный вид у хозяйки... Решительно ни на что не похоже.

И он с досадою выбросил в раскрытое окно окурок сигары, посмотрел на часы и сказал, вставая:

— А все-таки надобно отправиться к ним. Я бы давно уже там был, если бы не встретился с вами и не заговорился так долго...

— Вы мне сделали большое удовольствие, посетивши меня. Позвольте надеяться, что это не будет в последний раз. Не забывайте же старых знакомых.

— Тем более, что их у меня очень немного здесь, — отвечал Тропов, пожимая руку приятеля.

Приятели остались очень довольны друг другом. Павел Гаврилович [был] поражен совершенно новыми мыслями, высказанными гостем, с которыми он, по натуре своей, не мог не согласиться; притом он благоговел перед ст о л и ч н о с т ь ю своего приятеля, хоть и старался скрывать это. Тропов тоже [был] рад, — и тому, что так удачно у [мел] высказаться, и тому, что нашел в самом деле старого знакомого, и тому, наконец, что заметил, как жадно слушал его и как легко соглашался с ним старый знакомый.

## II

Дом Быстрицких был на самом краю Кладбищенской улицы, так что одна сторона его была обращена к городу, а другая выходила уже на поле, и из окон можно было видеть ряд могил, которыми начиналось N-ское кладбище. Город был необширен, и потому грех было бы сказать, что дом Семена Андреича Быстрицкого был слишком удален от средоточия городской жизни. Однако же сам хозяин говорил это, и во всем N не нашлось бы ни одного человека, который бы стал противоречить такой неоспоримой истине. Шутка ли, отсюда до Кремля, например, где находятся и присутственные места, будет с версту, а иные говорят, что даже больше; до Гостиного двора — тоже чуть не верста, до ближайшей аптеки — полверсты, до церкви тоже очень далеко!.. Тропов, привыкший к петербургским размерам, вздумал было уверять всех, что это чрезвычайно близко, что это — рукой подать, но ему никто не хотел верить, а некоторые даже [на]поминали ему, как сам он [жа]ловался, бывало, на то, что [далеко] ходить из Новой [улицы] в гражд[анскую палату]... и [все-таки] Семен Андреич рассказывал ему, как о великом подвиге, о том, что он вчера ходил пешком и в палату, и из палаты домой, почему и считает себя в праве сегодня совсем уже не ходить в должность. Подобную вольность позволял

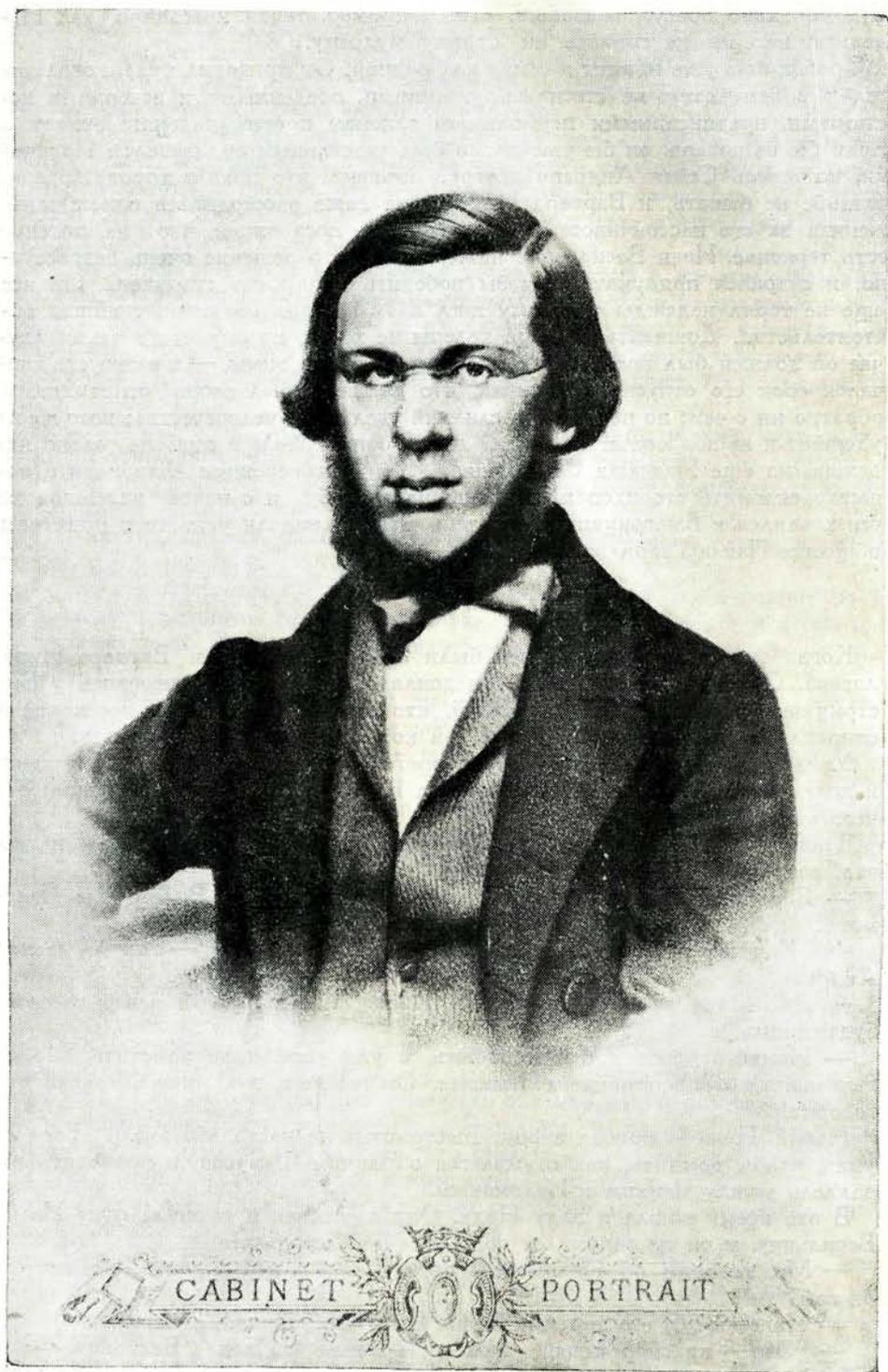
иногда себе Быстрицкий как человек, уж достигший степеней известных и приобретший отличную репутацию делового и надежного служаки. Не отличаясь особенными талантами, Семен Андреич был зато в молодости очень трудолюбив, честен и обладал хорошим житейским тактом, который не всегда-то дается и блестящим талантам. Обративши на себя внимание начальников, дошедши до порядочного жалованья, он умел составить себе во всех отношениях очень выгодную партию и теперь наслаждался семейными радостями почти невозмутимо...

Говорю почти потому, что иногда тихое счастье его нарушалось супружескими размолвками. Но и в этих случаях Семен Андреич страдал очень мало, потому что чувствовал себя всегда правым во глубине души своей и, может быть вследствие этого убеждения, весьма мало обращал внимания на увещания, просьбы, упреки и даже слезы Варвары Николаевны. Притом и причины ссор были всегда такого рода, что не могли возбудить сильной и продолжительной бури. Сколько ни твердите, что от малых причин бывают великие следствия, но на деле гораздо чаще бывает наоборот, — т. е. великие предприятия и приготовления оканчиваются действиями весьма не гигантских размеров. Натура же Варвары Николаевны совсем неспособна была к глубоким потрясениям. Рожденная с добрым, даже немножко чересчур добрым сердцем, она была воспитана любящею матерью, без всяких посторонних нянек и учителей. Мать ее учила, разумеется, очень не многому, но учила как мать... Варвара Николаевна выросла очень доброю девушкой, хорошей хозяйкой, но, кто бы подумал? — она сделалась вместе с тем романтической, сентиментальной барышней. Как это случилось — ни мать, ни отец понять не могли. Но дело было очень просто. У Варвары Николаевны был брат, годами десятью старше ее, только что кончивший курс в университете и приехавший служить на родину в то самое время, как сестра его стала бегло читать и списывать чувствительные стишки. Витая постоянно в высших сферах и потому плохо служа и живя, — он вдруг вздумал произвести радикальную реформу в образовании своей сестры. Он начал сообщать ей свои высшие взгляды и давать читать романы Жанлис, Дюкре Дюмениля и славной Анны Радклифф... Идей его девочка не слушала и не понимала, но романы читала с жадностью... Ужасы и рыцарство, удары судьбы и неожиданные защитники, замки и подземелья этих романов так противоречили ежедневным хлопотам на кухне, закупкам провизии, шитью и вязанию, к которым постоянно старалась приучить ее мать, что у бедной девочки совершенно закружилась голова, и она нешутя сочла себя страдальцею на сем свете... Она часто задумывалась и плакала без причины, полюбила уединение, и в 15—16 лет в ней развилось, в ужасающих размерах, сочувствие с природою... Она взывала к луне, говорила с волнами и даже чувствовала трав прозябанье... Была в те годы и любовь, страстная и пылкая, но неглубокая, как и все страсти Варвары Николаевны, и скоро уступившая требованиям родителей, решивших выдать ее за Быстрицкого... Сначала невеста, считая себя жертвою рока, рыдала и терзалась, но потом не могла противиться соблазнительной веселости всех окружающих, увлеклась, и свадьба совершилась очень радостно... Скоро хозяйство, дети заняли внимание молодой женщины, и она было совсем вылечилась от своей идиллической настроенности, — но неожиданное обстоятельство испортило все дело... Какая-то знахарка, погадав по руке всегда склонной к мистицизму Быстрицкой, предсказала ей, что она будет, будет счастлива, только вокруг нее будет неладно, и вскоре после того умерли один за другим трое детей ее... Снова романтизм, жалобы на судьбу, неутешные слезы... Муж, сам чувствуя всю тяжесть потери, не мог ее успокоить, участие родных еще более раздражало ее горечь, и на этот раз с каким-то ожесточением Варвара Николаевна признала себя героиней плачев-

ного романа и все как будто ждала, что явится неожиданный добрый гений и возвестит, что ее дети живы, что все ее страдания были только мистификацией. В это время страшно развилось в ней суеверие, к которому она всегда была склонна по своему характеру. Оно доставляло ей какое-то невыразимое наслаждение тем, что объясняло для нее, как дважды два — четыре, такие вещи, которых она никак не могла понять по простым природным законам, сколько ни напрягала своих мыслительных способностей... Романтизм скоро снова исчез из сердца и головы Быстрицкой, когда у нее родилась дочь Наденька; но суеверие уже крепко засело в душе, и без него, как без воздуха, не могла жить Варвара Николаевна.

Как человек положительный Семен Андрейч не поощрял сердечных увлечений своей супруги, и вот в чем заключалось яблоко раздора для этой мирной четы. Случалось, что из-за какой-нибудь просыпанной солонки или неудавшегося убийства паука возгоралась ссора, и доходило до того, что Семен Андрейч совершенно не деликатно называл свою жену глупой бабой и греховодницей, а она честила его умником и вольтерьянцем. В этих ссорах доходило иногда до того, что Варвара Николаевна принималась даже жаловаться на свою судьбу и уверять, что рок ее преследует в лице мужа, как будто бы он был какая-нибудь яростная Евменида. Но эти жалобы выговаривал только язык, они были до того привычны и как-то стереотипны, что не находили сочувствия даже в сердце самой Варвары Николаевны. Что касается Семена Андрейча, — его, степенного и положительного человека, никак уже не могли расстроить подобные предрассудки, как он называл заодно и мнения, и слезные жалобы своей жены. Да и она, правда, — тоже уверенная в своей справедливости и думая, что муж не способен чувствовать, как она, что он слишком близорук в своих суждениях и может верить только тому, что у него перед глазами, — тоже не обращала внимания на обидные прозвища, которыми он наделял ее. Отвечала она ему, и иногда довольно резко, только потому, что ведь нельзя же так совсем оставить без внимания его слова, не защитить ни словом своих понятий...

Под влиянием этих разнородных характеров выросла в родительском доме Наденька. Впрочем еще более испытала она влияние посторонних. У ней были няньки и мамки, ее учили разным наукам, она говорила и читала на французском языке: все это отдалило ее от родительской патриархальности, и старики во многих случаях даже не понимали ее, хотя она говорила по-русски. Частые споры между отцом и матерью ставили ее довольно в затруднительное положение: она понимала основательность отца и чувствовала правоту матери. Ей почему-то нравилось думать, что в самом деле кошки гостей замывают, что заяц, перебежавший дорогу, предостерегает перед несчастьем, что красное яйцо, первое полученное при христосовании в светлое воскресенье, потушит пожар, если его бросить в середину пламени... Правда, она никогда не видала подобных обстоятельств, — замечала часто, что ее ожидания, возбужденные приметам, не сбываются, но что-то поэтическое было в них для нее, и она не могла отвергнуть их... Удивляться этому нечего: разве Шиллер не жалел о богах Греции? Разве на каждом шагу не встречаем мы людей, которые держатся тех или других убеждений, ровно ничего не имея сказать в защиту их и очень хорошо чувствуя их несостоятельность перед голосом рассудка, — держатся потому только, что им не хочется расстаться с тем, что так мирно живет в них с самого детства, ладит со всеми противоречиями, напоминает счастливое, невинное время их ребячества?.. И Наденька не стыдилась своих суеверий: она всегда готова была сказать, что она сама знала, что все это вздор, но что этот вздор ее занимает. Однажды она сказала даже Тропову в ответ на его рассуждения: «Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», — на что он отве-



Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

С фотографии (50-х гг.), хранящейся в Государственном Музее Революции СССР

гил довольно пошло, сказавши, что, например, такая красавица, как Наденька, наверно не снилась ни одному мудрецу.

Тропов был уже принят в семье как родной. Он приходил туда, когда хотел и в чем хотел, не стесняясь утренними, обеденными и вечерними костюмами, предписанными неумолимым законом провинциального этикета... Если бы не холера, он бы уже давно был счастливым обладателем Наденьки, но теперь Семен Андреич наотрез объявил, что пока в городе холера, свадьбе не бывать, и Варвара Николаевна даже рассердилась однажды на жениха за его настойчивость и поразила его пословицей, что на хотенье есть терпенье. Иван Васильевич находил, что это решение очень безрассудно, и старался придумать, как бы победить упрямство стариков... Он все еще не терял надежды и потому жил в N и ждал благоприятнейших обстоятельств... Дождаться конца холеры не хотел, потому что в таком случае он должен был прожить здесь может быть до зимы, — а в августе кончался срок его отпуска. Он видел, что должен был скоро отправляться обратно ни с чем; но надежда — сладкий удел всего человечества; кого же не удержит и не поддержит надежда? А у Тропова была в виду не только надежда, но еще Надежда Семеновна... И он с намерением возобновить попытку склонить стариков к согласию на свадьбу и с новой надеждой на успех явился к Быстрицким в тот день, как мы видели уже его в приятном обществе Павла Гавриловича.

### III

Когда он вошел в залу, в ней были Семен Андреич и Варвара Николаевна. Он, по обычаю, вошел без доклада потому, что в передней у Быстрицких никого не было, и всякий, кто бывал уже в доме, преспокойно отправлялся из передней далее до той комнаты, где находил хозяев.

Увидав Тропова, Семен Андреич проговорил: а, вот и Иван Васильич, и подал ему руку, не вставая с места, а Варвара Николаевна спросила: отчего вы не приходили к нам обедать?

Тропов пожал руку Семену Андреичу, поцеловал руку хозяйки и сказал, как будто отвечая на вопрос ее:

— Я сегодня сошелся с одним старым знакомым... Знаете вы Изломава?

— Как же не знать... помилуйте... Славный малый, — отвечал Семен Андреич.

— Да, и так рассуждает хорошо. Право, иногда целый вечер говорит, будто книга.

— Немного успел я с ним побывать, а уже успел-таки заметить, что он выражается очень книжным языком... Он говорит, как пишет, только что говорит!..

Намек Тропова пропал даром. Быстрицкие не настолько знали «Горе от ума», чтобы помнить, как отзывается о Чацком Фамусов, и проводить параллель между Чацким и Изломовым.

В это время вошла в залу Надя. Она дружески протянула руку Ивану Васильичу, и он не задумался пожать и поцеловать ее.

— Мы говорим об Изломове, — обратился к ней Тропов. — Нравится он вам?

— Изломов? Я его почти не знаю. Впрочем, кажется, ничего...

— Это — красноречивый оратор, — начал Иван Васильич, — это N-ский Демосфен, человек одаренный даром слова, человек, слушая которого, вы не можете надивиться, откуда лезет вся эта книжная диссертация, и приходите наконец к печальному заключению, что он предварительно выучил ее наизусть.

— Этакая голова, — пробормотал Семен Андреич, оставляя сигару. — Ведь рад, что встретился с приятелем, и тотчас же начинает ругать его.

— Что вы, что вы, Семен Андреич? Чтобы я стал ругать приятеля! Никогда... А отчего же не пошутить, отчего не смеяться над тем, что кажется смешно? Да я ему и в глаза скажу то же самое.

В глаза ему этого бы Ивана Васильевич не сказал... Но он полагал, что иногда бывает недурно выставить свою прямоу и рыцарское б е з с т р а х а и у п р е к а, хоть и говорят, что ныне рыцарство не в моде.

На этот раз однако же нареченный тесть вздумал поучить зятя житейскому благоразумию и потому заговорил:

— Не советую говорить подобных вещей ни ему и ни кому другому, от этого решительно никакой пользы не получите... Да и не понимаю я, что тут хорошего? Обидел человека за глаза и чтобы поправить, кажется, или уменьшить, что ли, свою вину — вдруг кидается на него и повторяет свое оскорбление в глаза ему! Я тут не нахожу ровно ничего благородного и благоразумного.

— Да скажите же, разве я обидел его? Я потому-то и могу повторить при нем мои слова, что не считаю их обидными для него.

— Вы не считаете, а он может счесть... Можете ли вы знать, как он это примет?

— Конечно, примет, как и всякий порядочный человек должен принять шутку.

— Что вы мне говорите о порядочных людях? Разве все хорошие люди сделаны непременно на одну колодку. Ну, смотрите, ведь и вы, и я оба мы не дурные люди. А какая между нами разница!.. Как часто мы не сходимся!..

— Ну, мы с вами, Семен Андреич, разошлись далеко только в одном случае. Касательно вопроса о свадьбах во время холеры.

— Да уж об этом и толковать нечего, — возразил строго Семен Андреич.

— А я именно еще хотел сегодня поговорить с вами об этом. Право, не знаю, что вы делаете... Хоть бы холера взяла меня поскорее, тогда, выйдя здоровевши, я бы уже не имел препятствий.

— Ах, Господи, что это вы говорите! — воскликнула Варвара Николаевна и плюнула в сторону.

— Ну, матушка, отплюнься, — пробормотал Быстрицкий.

— Ну, уж ты... И думает хорошо, что ничему не верит...

— Так, по-твоему, в плеваньи, что ли, вера-то?

— Вот, вот, всегда так, — жалостно говорила Варвара Николаевна, относясь к Тропову. — Ну, вот, скажите вы, умный человек...

Она хотела сказать, — приятно ли слышать, как накликают на себя б о л е з н ь, и как же не плюнуть при этом? Но она во-время вспомнила, что эти неприятные слова сказал сам же Иван Васильич, и потому остановилась, несколько сконфуженная и не зная, что сказать...

Тропов понял ее затруднение и поспешил на выручку.

— Однако я показал себя перед вами не совсем умным человеком, сказавши такую вещь, которая вас расстроила...

— Нет, я не то, — отвечала она. — А вот видите, он ведь все так, как будто он уж все знает. Не верит тому, что я сама испытала и доказала уж ему, доказала. Да вот, чего ближе, Наденька... Маленькая она, бывало, часто хворала так, без причины, захворает, да и только. Ну, разумеется, уж значит сглазили... Я, бывало, ничем и не лечу, — слизну только ее с л о б о ч к а, да спрысну холодной водой с уголька — и как рукой снимет, — на другой же день — здоровехонька... Так нет ведь, все-таки не верит...

— Я удивляюсь еще, как вы, Иван Васильич, до сих пор не сглазили

Наденьку, — шутливо заговорил Быстрицкий, — верно вы не умеете смотреть как следует. Да, впрочем, погодите еще: чуть у Нади сделается насморк или бессонница появится, — тогда приходите полюбоваться, как она будет ее слышать.

И Семен Андреич весело захохотал, Наденька тоже рассмеялась, а Варвара Николаевна нахмурилась и еще раз плюнула в сторону.

— И где это он набрался таких понятий? — продолжала она. — Вот-то брат покойник, — и в университете учился, и в Москве жил сколько лет. Ведь уж, конечно, и правду сказать, нынче народ не прежде, — мало веры в людях стало... А никогда, бывало, не кощунствует этак. Разве только что объяснит там что-нибудь по-своему... Ну да ведь это можно. То-есть он там объясняет-то иначе, а оно все-таки так выходит.

— Да, я это очень хорошо понимаю, — отвечал Тропов, который, правда, не совсем понимал заключений Быстрицкой, — но если я вам сказал о холере, так это совсем по легкомыслию; я именно желаю, чтобы меня схватила легонькая холера, после которой вы, разумеется, дали бы нам свое благословение, потому что ведь холера бывает только один раз в жизни с человеком.

— Нет, извините, все-таки я бы еще не согласился, — возразил отец. — Конечно, вы были бы безопасны, но — сохрани бог, — от слова не придет, — если вдруг захворает Наденька, и вы останетесь молодым вдовцом... Что же, ведь вы тогда на нас будете богу жаловаться.

— Боже мой, какие мысли приходят в голову... Да посмотрите, может ли холодная рука смерти коснуться этого прекрасного, свежего, дивного организма?

И произнеся эти слова намеренно-напыщенным тоном, Тропов вскочил со стула, отступил шаг назад и стал перед Наденькой, как будто в благоговейном созерцании. Наденька смеялась, но ничего не сказала.

— Шутить этим нечего, — строго ответил отец... — Мало ли что бывает. Сделавши, дело уже не переделаешь, — а теперь все-таки вы еще не связаны, вольный казак. — И, как бы желая отделаться от неприятного разговора, он вдруг сказал, возвысив голос: — Что, Надежда Семеновна, не пора ли чаю нам дать?

— Да, уж давно семь, — отвечала Наденька и вышла из комнаты.

Но Тропов упрямо стоял на своем.

— Неужели же вы думаете, — горячо возразил он, несмотря на перерыв старика, — что я могу позабыть это прелестное создание, что я легче перенесу разлуку с ним, если бы это несчастье случилось в настоящем нашем положении? Неужели, по-вашему, расчет или обязанность может действовать сильнее, нежели чистое, горячее, искреннее чувство любви в сердце молодого человека? Да назовите меня подлым, гадким человеком, если я когда-нибудь соединю судьбу свою с другим существом, кроме вашей дочери.

— Вы, кажется, не замечаете, что ее здесь нет, и следовательно некому оценить ваши восторги, — спокойно отвечал Быстрицкий.

Иван Васильич несколько смутился от этих слов, а старик продолжал со вздохом:

— Да все вы, молодые люди, так говорите, а случись, в самом деле, ну, — от слова не придет, умри наша Надя вскоре после свадьбы, — право, терзаться будете, что связали себя; да что говорить: и с чужа горько взглянуть на этакую беду.

— Да чего, — подхватила Варвара Николаевна, — вот завтра пойдем на похороны. Кузьма Максимыч умер; только всего два месяца, как женился, и ведь на какой девушке-то, если б вы знали.

— Уж, верно, не то, что ваша Надежда Семеновна. Зная ее, я ничего больше не хочу знать, — отвечал Иван Васильич, чтоб прекратить похорон-

ный рассказ, — и — поверьте, я уверен, я предчувствую, что нас с ней ожидает невозмутимое счастье... Вам ровно нечего бояться...

— Ах, нет, Иван Васильич, в этом случае уж Семен Андреич совершенно прав... Он вам доказал резонно... А правду сказать — у меня еще есть одна причина, Семен Андреич ей не верит, а для меня она дороже всего.

— Что же это такое? — спросил жених.

— Полно, вздор-то молоть, — заметил как будто про себя муж.

— Да для тебя это, разумеется, тарабарская грамота, а вы, Иван Васильич, умный и может быть и рассудите. Еще в прошлом году, когда об холере у нас и-и-и помину не было, — приходит ко мне одна старушка и просит, чтоб дала ей погадать. Я, чтоб испытать ее, знаете, спрашиваю сначала, — погадай о моем женихе — так, что вы думаете, ведь узнала... не могу, говорит, гадать, ты меня обманываешь. Ну, как могла она узнать это, скажите мне...

— Да, это довольно странно, — проговорил Иван Васильич так серьезно, что Андрей Семеныч не вытерпел и расхохотался.

— А вы бы не узнали? — спросил он Тропова...

— Ах ты, боже мой! — сердито посмотрела его супруга. — Двадцать раз ты мне этим надоедал... Старость, да старость... Да что же такое?.. Да разве не помнишь, шесть лет тому назад венчали старуху Воронину — 57 лет. А мне еще всего-то 50... Не слушайте его, пожалуйста, — обратилась она к Тропову и продолжала рассказывать: — так вот эта старуха много, много мне рассказала, решительно все узнала. Спросила я ее и про Наденьку. Старуха задумалась что-то, потом и говорит: Да, говорит, она будет и счастлива и здорова будет, а захворает, когда все будут хворать, тогда, говорит, берегите ее... Я тогда-таки думала, что бы это значило... А вот теперь-то и поняла. Уж ясное дело, что Наденьке холеры не избежать... Только дай бог, чтоб полегче была. Я уж и то так боюсь, так боюсь за нее. До сих пор и не говорила ей, чтобы не напугать... Посудите же сами, на что глядя нам ее выдавать-то теперь...

— Маменька, здесь будем чай пить или в столовой? — раздался голос появившейся в дверях Наденьки.

— Я думаю, там лучше будет, — отвечала. — Здесь ведь вот сейчас солнышко прямо в окно ударит... Такая жара несусветимая.

— Так пойдемте туда. Отправимтесь, Иван Васильич, — сказал хозяин, вставая с своего дивана.

И отправились.

#### IV

Таким образом главной причиной всех неудач Тропова было предсказание какой-то старухи... Убеждения Семена Андреича, как и всякое живое, разумное убеждение, можно было изменить, представивши ясные и справедливые доводы. Но что прикажете делать против тупого безмыслия, против слепого суеверия, принимающего за непреложный закон слова какой-нибудь знахарки, нисколько не трудясь подумать об них и спросить себя, насколько в них есть здравого смысла и насколько чудовищной, химерически построенной фантазии?.. Тропов чувствовал, что старание переменить уверенность Варвары Николаевны весьма во многих отношениях напомнило бы камень Сизифа. Поэтому он счел за лучшее безмолвно согласиться с ней и во все время чая думал только, как бы надуть старуху. Чего ищешь, то находишь, — говорили мудрецы, — и это изречение, в других случаях приложимое всегда наоборот, на этот раз оправдалось совершенно. Счастливая мысль посетила голову молодого человека, он ухватился за нее, любовался ею, рассматривал ее со всех сторон и, повидимому, вполне остался доволен. Он развеселился, только поддакивал Варваре Николаевне, утверждавшей,

что мыши плодятся четыре раза в месяц, убеждал весьма комически Быстрицкого в том, что между добродетелью и достоинством неизмеримая разница, и наконец, прощаясь с хозяевами довольно уже поздно вечером, успел как-то шепнуть Наденьке, что он должен завтра поговорить с ней одной; она сказала ему: утром, и жених наш ушел самодовольный и счастливый...

Соображения его заключались вот в чем. По системе N-ских докторов, которой справедливость не подвержена сомнению и которой сама Варвара Николаевна не отвергает, — холера с одним и тем же человеком два раза не бывает. Доказательством этому служит наблюдение, показывающее, что с одного вола двух шкур не дерут, — и опыт, убеждающий, что по крайней мере о большинстве холерных больных можно смело сказать, что с ними не будет уже не только холеры, но и какой бы то ни было болезни и печали благодаря искусству докторов. Таким образом если бы жених и невеста выдержали хоть легонькую холеру, — разумеется, — они бы могли спокойно подать руку хоть самой холере, нисколько не опасаясь заразиться. Если же холера не спешит ко мне притти, — думал Тропов, — а ждать ее я не хочу, так отчего бы не сказать, что был в холере, да и только. Всего-то пролежать день-два, — подергать ногами, подражать, поохать... Вот и все... Для пущей важности можно даже принять рвотное. Чудная мысль... А потом, потом можно и Наденьке захворать таким же образом... Только нужно предупредить ее, и вообще с нею условиться...

Вследствие этой мысли Тропов просил у Наденьки позволения говорить с ней наедине и, получив его, считал уже все дело конченным.

Половину ночи придумывал он разные фразы и доводы, которыми бы мог повернее убедить Наденьку согласиться на его предложение. Поздно заснувши, он зато и встал поздно. Несмотря на то, он тщательнее, чем когда-нибудь, занялся своим туалетом и как-то странно, но очень мило взбил себе волосы, сделавши таким образом из своей прически что-то вроде à la чорт поberi!.. Он хотел казаться интересным и вместе человеком отчаянным, на все готовым и отчасти вдохновенным.

В доме Быстрицких он, как и нужно было, застал только Наденьку. Отец и мать были на похоронах. С Наденькой сидела старушка няня, — нянчившая всех детей Семена Андрейча и теперь уже едва таскавшая ноги. Она очень рада была гостю, по приходе которого в ту же минуту и отправилась к себе в каморку отдохнуть... Таким образом все устроилось благополучно.

Не буду я описывать вам, мой воображаемый читатель, сцену, которая произошла между молодой девушкой и молодым человеком, не буду описывать ее потому, что надоели уже и мне самому все подобные сцены, тысячу тысяч раз повторяемые, с незначительными изменениями, во всех повестях и романах. Естественно желая угодить моим читателям, я решил предоставить каждому из них право обратиться для воссоздания этой сцены или к своим собственным воспоминаниям или к первой попавшейся под руку повести. Может быть найдется какой-нибудь читатель — психолог, который желал бы проследить в этой сцене характер моих персонажей. Но с душевным прискорбием я должен известить его, что Тропов остался при этом таков же, как и был, и никакой новой крупной черты не обнаружил, — а Наденька — Наденька, увы, не выказала никакого характера: сначала она испугалась его предложения, хотя оно было прикрыто тончайшей сетью громких и нежных фраз и укреплено всеми доводами любовной софистики. Ей казалось как-то неловко обманывать мать и заставить плакать, беспокоиться и хлопотать около нее — попустому. Но Иван Васильич как дважды два — четыре доказал ей, что лучше же за один раз покончить Варваре Николаевне все свои беспокойства, нежели несколько месяцев дро-

жать за жизнь людей, милых ее сердцу. Тут он сообщил ей и предсказание, которое смущало старушку. Эти доводы победили Наденьку, но еще было препятствие: как притвориться, чтобы болезнь приняли за холеру. Тропов тут все устроил: Наденька должна была захворать в отсутствии отца, пожаловаться сначала на головную боль, потом показать вид, будто ноги и руки сводит судорогами... Варвара Николаевна так сильно и с такой верой ждала холеры для своей дочери, что тотчас должна была этому поверить. Для убеждения же доктора, за которым разумеется тотчас пошлют, можно взять легонький прием рвотного. Наденька долго отговаривалась, но наконец согласилась на все.

Во всем этом деле можно было опасаться только доктора, который мог обнаружить секрет. Для этого предположено было, что болезнь поразит сначала Ивана Васильича, он пригласит того доктора, который лечит всегда у Быстрицких, и произведет ему испытание. Если он откроет, что болезнь мнимая, то нужно будет закупить его; если же сойдет с рук, тогда смело можно рассчитывать на его искусство.

Кончивши все совещания, Тропов пошел приготовить все нужное. Нужным оказалось только рвотное, и он взял его в аптеке сам, половину оставил для себя, а половину передал Наденьке, явившись опять к Быстрицким обедать. За обедом он был бешено весел и все уверял, что холера не смеет взять его, — к великому ужасу Варвары Николаевны, которая даже не могла отплевываться, потому что рот ее — естественно — занят был в это время совсем другим делом.

## V

Сказано — сделано... На другой день Быстрицкие узнали, что Тропов болен холерой. Семен Андреич покачал головой и начал ворчать что-то про себя, Варвара Николаевна охнула, упала в изнеможении на стул и залилась слезами и Наденька тоже заплакала — не знаю, — потому ли, что слезы для нее были очень дешевы, или потому, что она представила себе отчаяние матери во время другой предположенной болезни. Несколько минут прошло таким образом. Наконец Быстрицкий встал, в раздумьи прошелся по комнате и решил — надо сходить к нему.

Варвара Николаевна, хотя и верила заразительности холеры, как многие тогда еще верили, но не имела духа остановить своего мужа. Она могла только посоветовать ему, чтоб он был поосторожнее, чтоб не садился возле кровати больного, чтоб не дотрогивался до его тела и т. п.

Быстрицкий застал Тропова в постели, лежащего с диким взглядом и стонами, которые были слышны через две комнаты, больной не заметил его прихода и даже не повернул к нему головы. Человек его с печальной миной стоял перед ним с суконкой в руках. Через несколько минут по приходе Быстрицкого началась рвота. Тропов показался нареченному тестю страшно худ и бледен. Пробывши здесь еще несколько времени и не зная, чем помочь несчастному, Быстрицкий осведомился, был ли доктор, узнал, что был и прописал лекарства, спросил еще, рано ли началась болезнь, и лакей рассказал ему, что еще в ночь барин почувствовал судороги в ногах, — тотчас же сам встал и начал тереть себе ноги, долго возился, все хотел переломить себя и никого не будил. Наконец уж часу в седьмом разбудил человека и послал его за доктором. Тот приехал тотчас. При нем сделалась рвота. Доктор сам пробыл здесь с полчаса, спросил, оттирали ли ноги, и узнавши, что оттирали только сначала, велел было опять тереть. При нем минут пять и тер человек суконками ноги барина, да и то все тот его останавливал — то пить спросит, то одеть велит, то подушки поправить. А как доктор уехал, так и совсем не велел оттирать... Мне, говорит, это

всю внутренность перевертывает, а судороги слава богу кончились. Так вот и лежит, все охает и как будто в забытии,—заклочил лакей, шопотом рассказавши историю его болезни.

Быстрицкий еще с полчаса оставался у постели больного, хлопотал около него, принял от человека лекарство, принесенное из аптеки, и попробовал предложить больному принять его... Но Иван Васильич отвечал на это только диким, пронзительным стоном, и вдруг голова его бесчувственно покатила по подушкам. Семен Андреич испугался и бросился тереть ему виски одеколоном... Больной очнулся, застался снова и начал метаться по постели и ломать руки, не отвечая ни слова на заботливые предложения старика.

— Нужно опять сходить за доктором,—говорил Быстрицкий слуге, — беги, отыщи его где-нибудь, а я пока останусь с ним.

— Да где теперь доктора найдешь, сударь,—отвечал тот,—ведь вот оно, время-то здесь какое.

— Как же быть, братец, ведь умирает, какого-нибудь найди доктора.

— Ведь давеча тот сказал, что коли, говорит, опять будет сильная рвота или судороги, вот этого чтобы лекарства принять. Да они еще и его не принимали-с. Может, от него что и полегче будет.

— Да ведь как ему дашь! Иван Васильич, Иван Васильич,—продолжал старик, приступая к нему,—примите этой микстуры. Вам непременно нужно успокоиться... Как хотите, я налью,—решительно сказал он, увидев, что Тропов остановил на нем свой блуждающий взгляд...

И он налил и поднес ему ко рту ложку микстуры. Больной так мало разинул рот, что в него едва ли попала половина, а и ту он тотчас же вылил опять изо рта, поворотившись к стене и закрывшись одеялом... Несколько минут после этого он продолжал еще ломать руки и ворочаться по постели, наконец затих, и только слабые стоны изредка слышны были из-под одеяла, в которое закутался он с головою.

Семен Андреич, видя, что ему делать здесь нечего, отправился домой, обещавши прислать своего человека сидеть возле больного, потому что нельзя же одному хлопотать около него бессменно и день и ночь.

Дома Быстрицкий говорил Наденьке, что жених ее похвалился да и свалился, и не узнаешь теперь... Вчера был молодец молодцом а теперь такой мокрой курицей сделался.

— А ведь сердце мое вчера еще предчувствовало эту беду, право,—начала Варвара Николаевна.—Вот ты говоришь иногда, что вздор,—нет не вздор... Весь день вчера я была, как на иголках... и как он это скажет, что холеры не боится,—у меня так сердце и замрет, так и думаю: батюшки мои, накажет его Господь, поплатится он за эту удачу. Вот и пришло. И что это за охота человеку самому в петлю лезть!.. Зачем было накликасть болезнь? Теперь уж вот и покается, да поздно...

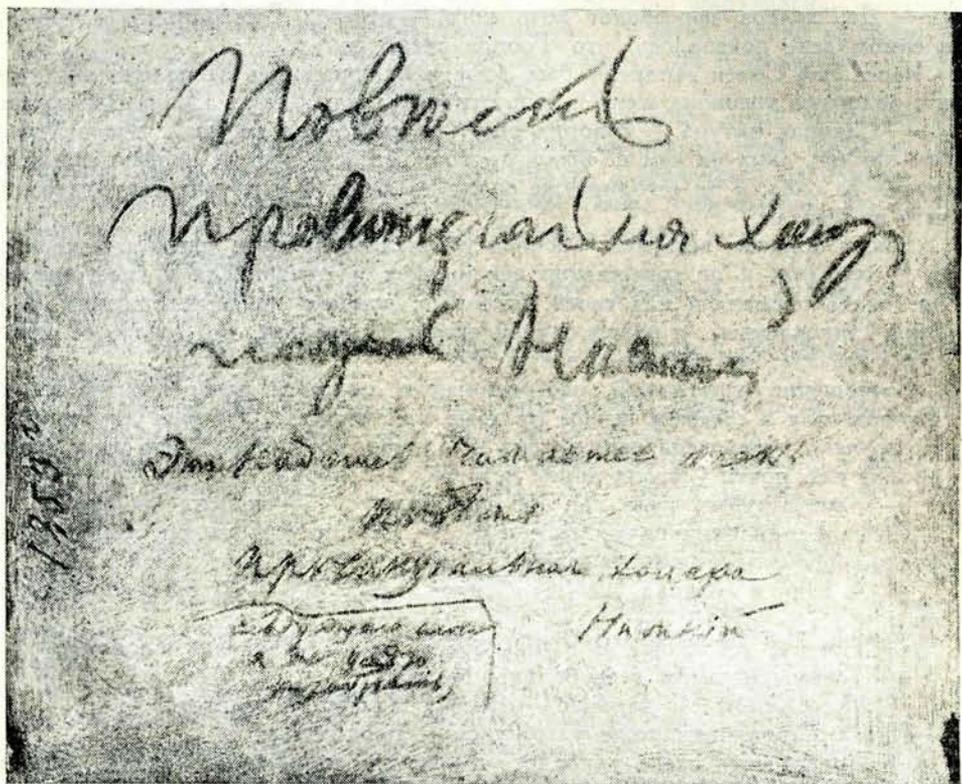
— Полно ты, все не от того... Мало ли кто болен был холерой — разве все сами накликали?

— Так уж то там уж сама болезнь пришла — нечего и говорить. А это сам напросился...

Быстрицкий был слишком встревожен болезнью Ивана Васильевича, чтоб пускаться в споры с своей супругой; он знал, что это поведет слишком далеко. У Варвары Николаевны всегда был в запасе целый арсенал примеров, сравнений, даже свидетельств каких-нибудь знахарок и юродивых, которым она приписывала безусловный авторитет, — и каждое возражение, каждое сомнение в истине ее убеждений по этой части она готова была отражать этим орудием. Правда, после длинного разговора сущность возражения оставалась все та же, но противник часто доведен был до того, что уже решительно не знал, что бы такое сказать Варваре Николаевне подходящее к ее понятиям, — и она добродушно считала себя победительницею.

Теперь, не встречая возражений, она и сама скоро оставила свои соображения о причине болезни Тропова и дала волю своему доброму сердцу. Она начала плакать. Сначала тихо, потом с прибавкою изредка слов, изъясняющих ее сожаление, потом пустилась вдруг в горькие размышления, что кто бы мог это подумать, наконец принялась за подробное исчисление достоинств Ивана Васильича.

Наденька знала, что все это была только фальшивая тревога, но ей почему-то было тоже грустно. Безмолвно сидела она у окна и, казалось,



НАДПИСЬ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ РУКОПИСИ ПОВЕСТИ ДОВОЛОБОВА «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ХОЛЕРА»

С подлинника, принадлежащего К. М. Федорову

о чем-то все думала. Думала, думала и вдруг залилась слезами. Скоро тихий плач ее перешел в громкое рыдание, и Варвара Николаевна бросилась утешать ее, утверждая, что бог милостлив, что еще можно надеяться на выздоровление Ивана Васильича и пр.

Весь тот день проведен был семейством Быстрицких особенно мрачно и уныло. Наутро, только что вставши, Семен Андреич опять отправился навестить больного...

Он застал его в постели за чашкой кофе... Иван Васильич очень весело принял его, благодарил за вчерашнее посещение, уверял, что вчера он сам был твердо убежден, что больше не жилец на белом свете, но что сегодня он, напротив, чувствует себя очень хорошо и чрезвычайно удивился такому быстрому излечению... — Вероятно, оттого, что сильные потрясения не могут быть продолжительными, — говорил он, — холера моя как внезапно началась, так же внезапно и кончилась. Зато вчерашний день уж досталось мне. Если бы мне предложили вчера пролежать год во всякой другой

болезни, с тем чтобы избавиться от вчерашних страданий, я, несколько не думая, согласился бы.

— Однако вы теперь, мне кажется, слишком неосторожны, — говорил Быстрицкий. — Как можно так много говорить после болезни, и особенно этот кофе...

— Помилуйте, да холера после себя не оставляет ровно никаких следов; я доктора спрашивал, он мне сказал, что все, что только может укрепить меня, в теперешнем положении мне полезно... Мне очень нужно подкрепить себя, видите, как я исхудал в этот день...

— Да, холера перевернет хоть кого, — отвечал Быстрицкий, которому в самом деле показалось, что Тропов очень похудел.

Через час Семен Андреич был дома в отличнейшем расположении духа и с радостью успокоил жену и дочь относительно болезни Ивана Васильича.

— Славная натура, — говорил он, — переносливая натура... Вчера лежал без памяти, лица на нем не было, другой бы после этого с неделю еще пролежал да охал, а он сегодня уже сидит на постели и шутит, как будто ничего не бывало.

Таким образом выдумка Тропова увенчалась полным успехом. Еще прошли два дня, и он совершенно выздоровел и отправился к Быстрицким, где опять посмеялся над своей болезнью, вопреки предостережениям Варвары Николаевны... и нашел случай сказать Наденьке, что теперь ее черед. Она отвечала, что захворает завтра же.

Совершенно счастливый, настроенный к любви и доверенности, вышел Тропов часу в седьмом вечера из дома Быстрицких... Отсюда до его квартиры было очень недалеко; он шел медленно, посвистывая что-то в полголоса и уже почти у своих ворот встретил Изломова.

— Здравствуйте, куда вы это пробираетесь? — спросил он его...

Павел Гаврилович изумился и смотрел на Тропова такими глазами, как будто перед ним стояло приведение... Он решительно растерялся...

— А ведь я слышал, что вы больны... холерой, — наконец проговорил он...

— Так что же такое? Я и был болен, да уж успел и выздороветь.

— Так вы в самом деле больны были?

— Может быть, и нарочно, — отвечал Тропов и захохотал.

Павел Гаврилович тоже улыбнулся и продолжал:

— Право, меня очень удивляет, что вы так скоро выздоровели... я услышал сегодня, что вы опасно больны и вздумал было навестить вас... Иду и думаю... еще в каком положении застану человека, может быть и войти мне нельзя будет и вдруг встречаю вас.

— Так вы ко мне, — гостеприимно воскликнул Иван Васильевич. — Пойдемте же, пожалуйста... Ведь вот моя квартира.

Изломов пошел к нему и нашел здесь все в страшном беспорядке... Иван Васильич дома почти не жил и поручил свои комнаты в полное заведывание Василья, своего человека... А этот, напуганный болезнью барина, поднял весь дом вверх дном и ни одной вещи, кажется, не оставил тогда на своем месте, — после выздоровления праздновал по русскому обычаю и потому не мог еще привести всего в первобытный порядок... Таким образом, войдя в залу, Изломов увидел здесь посреди комнаты стол с разными тряпками, бумажками, стаканами в самом лирическом беспорядке... Около стола группировалось несколько стульев, один боком к нему, другие — спинками, третьи совсем опрокинутые... На диване валялось несколько сюртуков и жилетов... В гостиной под столом стояли сапоги, а за зеркалом было заткнуто полотенце.

— Этакое животное, этот Василий, — проворчал Тропов, входя в комнату. — Извините, пожалуйста, — обратился он к гостю, — вы видите у ме-

ня совершенную мерзость запустения; это все случилось в то время, когда я был в челюстях смерти...

— Помилуйте, что за извинения. Разве скоро придешь в себя после такого потрясения. Однако вы необыкновенно скоро поправились. Даже следов нет, следов нет... Встретивши вас, никто бы не подумал, что вы не далее как третьего дня лежали в постели.

— Да и я сегодня лежал в постели, и вы, верно, тоже... Однако же мы здоровы...

— Вы, кажется, смеетесь над тем, что я неточно выразился...

— О, нет, не думайте этого, пожалуйста... Я хотел только сказать, что не всякий, кто лежит в постели, поэтому самому уж и нездоров...

— Да ведь вы же были нездоровы?

— Бывал, как не бывать, — весело смеясь, говорил Иван Васильич... — У него вертелось на языке откровенное признание во всей проделке. Он необыкновенно был расположен в эту минуту к сердечным излияниям.

— То-есть — недавно были, — повторил Павел Гаврилович, думая, что приятель просто мистифицирует его своими словами.

— Нет, недавно не был...

— Как же это? Что же значат все эти рассказы о холере, которая вас поразила?..

— Это значит, что я захотел подурочить и холеру, и доктора, и еще некоторых особ...

— Каким же это образом? — жалостно возопил приятель, на лице которого было ясно написано: хоть убей, не понимаю...

— Боже мой, да очень просто... Призываю доктора, говорю: у меня холера. Он смотрит, щупает пульс, между тем у меня делается рвота — от рвотного, и доктор, убежденный, что в самом деле холера, бежит от меня, второпях прописывает лекарство, спешит к другим больным, рассказывает в нескольких домах о моей болезни, и вот Тропов болен... Ах, как жалко!.. Переживет ли он эту ночь! Есть ли надежда спасти его?.. Опасен, очень опасен, — говорит всем доктор... А ведь, признайтесь, опасный я человек? А...

И Тропов ребячески захохотал, радуясь своей проделке, как будто бы она доставляла ему целое царство... Несколько раз Изломов хотел уйти домой, и каждый раз Тропов останавливал его, упрасивая еще посидеть и поговорить... В 8 часов явился Василий и спросил, не угодно ли чаю. Иван Васильич велел поставить самовар к ним в комнату, и целый час они сидели за чаем, пили, курили, смеялись... Тропов был вне себя от радости, и никакое темное предчувствие не возмутило его отрадного вечера...

## VI

Другого рода сцены происходили на другой день после этого в доме Бистрицких. В 11 часов Семен Андреич по заведенному порядку, напившись чаю и закусивши, отправился в должность. Наденька была что-то бледна и угрюма все утро и тотчас после его ухода стала жаловаться на головную боль и озноб. Мать тотчас уложила ее в постель и пошла приказывать, чтоб опять поставили самовар и заварили для Наденьки мяты... В это время Наденька приняла рвотное... Через несколько минут, когда мать опять вошла в комнату, она стала жаловаться на тошноту и вдруг начала передергивать ногами, как будто их сводили судорги... Потом началась рвота... Сама мнимая больная напугалась, побледнела и очень не рада была этому действию... Что же касается Варвары Николаевны она была поражена, как громом... Вот оно послание-то божеское, — подумала она и в порыве отчаяния, высунув голову из дверей Наденькиной спальни, кри-

чала: Варя, Варя, Катя, Варя, Катя..! Скорее! Скорее! Ах, батюшки... скорее со щетками, оттирать... Наденька... холера....

Прибжавшие на зов девушки, испуганные не менее барыни, бросились тотчас за щетками и суконками, нарочно заранее приготовленными для этого предусмотрительной Варварой Николаевной, и, прибжав впопыхах в спальню Наденьки, начали вдруг изо всей силы растирать ее нежные ножки. Наденька, изнуренная рвотой, сначала не чувствовала ничего и лежала спокойно, но через несколько секунд жестокое растирание произвело в ней мучительные ощущения нестерпимой боли, и она начала кричать и рвать ноги из-под рук усердных девушек. Но мать, считая это новым припадком судорог, велела тереть сильнее и выбежала из комнаты, чтобы послать за доктором и кстати захватить с собой какого-то противохолерного средства. Когда она снова вошла в комнату, Наденька страшно металась на постели, употребляя неистовые усилия освободиться от мучительного растирания, которое давно уже содрало кожу с ее нежных ножек... Она кричала, говорила, что она больна совсем не холерой, что ее мучат, тиранят, но девушки не хотели слушать ее убеждений и почтительно уверяли ее, что это необходимо, что ведь без этого умрешь непременно. Когда Варвара Николаевна подала Наденьке свое лекарство и для этого велела прекратить на минуту растирание ног, — Наденька жадно бросилась на него и выпила вдруг... После этого Варвара Николаевна поставила дочери горчичник к груди и снова велела тереть ей ноги, несмотря на все ее мольбы и слезы. Снова начала метаться и пронзительно стонать и кричать бедная Наденька, снова мать залилась слезами и бросилась на колени перед иконой, прося бога пощадить ее милую, драгоценную, единственную Наденьку. И как будто по ее молитве, в самом деле Наденька успокоилась, забылась... Ее бросило в сильный жар, дыхание ее было тяжело и прерывисто, и она уже не кричала и не сопротивлялась... С ней можно было делать, что угодно...

Скоро приехал доктор. Выслушав подробный, преувеличенный рассказ Варвары Николаевны об ужасах болезни и узнав о средствах, ею принятых, он похвалил ее за предусмотрительность, посмотрел на Наденьку и удивился, найдя в ней сильный жар. Он не знал, что ему делать. Но размышлять слишком долго было некогда... У него было много практики. Мать уверяет, что холера, чего же еще... и он прописал рецепт против холеры и уехал, обещавшись явиться еще раз к вечеру.

Принесли лекарство, прописанное доктором. Наденька должна была выпить и его... Но только в первый раз могла она сама для этого приподнять голову. После этого приема она так ослабела, что во второй раз Варвара Николаевна должна была влить ей в рот лекарство насильно. Больная лежала бесчувственно, тяжело и редко дышала и бредила. Через несколько часов страшная горячка развилась в этом нежном организме.

Даже мать, заметив страшную перемену в своей дочери, подумала, что может быть болезнь ее какая-нибудь другая. Опять послали за доктором. Это уже было часа в два... Приехал доктор и сгоряча стал уверять, что у больной все прошло, что она в испарине, — это значит, что болезнь принимает благоприятный оборот. Но когда он почувствовал пульс бедной Наденьки, когда вслушался в ее горячее, тяжелое дыхание, когда услышал бред ее, — тогда и доктор призадумался... Он решил наконец, что у нее воспаление, но где — этот вопрос чрезвычайно затруднял его... А горькая мать стояла перед ним с умоляющим взглядом и с слезами повторяла: доктор, спасите!

Доктор, может, и действительно что-нибудь выдумал бы, но в это самое время прибежал вдруг человек от вице-губернатора и объявил, что его превосходительству очень дурно и что требуют скорее доктора. Думать долго

было нечего. Доктор сел и написал на авось рецепт, первый пришедший ему в голову и не направленный собственно ни против какой болезни.

Между тем Семен Андреич спокойно возвращался домой из должности. День был превосходный, и Быстрицкий решил пойти пешком до своего дома. Он тихо шел, помахивая своей тросточкой с золотой уткой наверху, и разговаривал с Изломовым, который, служа не под его начальством, был с ним хотя весьма почтителен, но вместе с тем и довольно свободен... Они говорили — сначала о погоде, потом о здоровье, потом о болезнях вообще, потом о холере в частности, наконец перешли к болезни Тропова в особенности...

— Да, напугал он меня, признаюсь, — говорил старик Быстрицкий. — Такую штуку выкинул, проказник... Вздумал было ноги протянуть, — очень нужно...

— Неужели же он и вас не предупредил, Семен Андреич? — наивно спросил Изломов.

— О болезни-то предупредить, — со смехом повторил старик. — Нет, батюшка, так у нас не водится...

— Но, сколько я знаю, он с вами в таких близких отношениях, что мог бы рассказать вам свою шутку наперед, чтоб вы не испугались...

— О какой шутке вы говорите?..

— О том, что вздумал сказаться больным...

— Сказаться?.. Как сказаться? А он не был болен?..

— Он мне вчера сам все рассказал, Семен Андреич. Это дело скрывать нечего-с... Вы можете мне доверить.

— Да, боже мой, — я сам ничего не знаю... Расскажите, пожалуйста, что за история? Скажите же, ради бога, когда я вас прошу, — настойчиво повторил старик, видя, что Павел Гаврилович колеблется.

Изломов, начавши говорить, предполагал, что все дело известно Быстрицкому, потому что Иван Васильевич не сказал ему настоящей цели своей проделки... Первые слова Семена Андреича подтвердили его предположение, и он стал говорить с ним, нисколько не опасаясь проболтаться... Теперь он был уже сам не рад, что заговорил, но было поздно... Впрочем, он не давал Тропову слова молчать и потому решился рассказать откровенно все дело, как слышал сам... Быстрицкий остался не совсем доволен.

Расставшись на дороге с Изломовым и продолжая один свой путь, он все думал, что бы за причина такая была Ивану Васильичу дурачиться... Темное подозрение запало ему в голову, что-то тяготило его при размышлении об этом предмете, но он сам не мог дать себе отчета, что тут именно ему не нравилось. С такими мыслями вошел он в свой дом и в дверях столкнулся с доктором.

— Что такое, Иван Аполлонович? — спросил он доктора с едва приметным оттенком беспокойства в голосе.

— Ничего особенного, — отвечал торопливо доктор. — с вашей дочерью случился какой-то припадок. Варвара Николаевна уверяет, что холера, но, право, я не знаю, что и подумать. Нет ни озноба, ни поноса, ни окоченения в оконечностях, а между тем рвота и судорога. Вероятно, это новый вид холеры: я только второй раз и вижу этаким род болезни, у этого, как его, петербургского... Тропова и вот у вашей дочери. Впрочем я прописал микстуру.

Семен Андреич стоял перед доктором, как окаменелый, не помня себя, не думая об опасности дочери, соображая только легкомысленный заговор молодых людей и видя ясно, что Наденька так же притворяется, как притворялся Иван Васильич... Доктор, воспользовавшись его замешательством, поспешно вышел, сказавши: извините, я спешу.

Пришедши в себя, Быстрицкий пошел прямо в спальню дочери, стараясь думать, что опасности нет никакой... Но когда он подошел к кровати, услышал стоны бедной дочери, ее дыхание, похожее на всхлипывание, когда на нежный зов его она отвечала безумным бредом и начала метаться по постели, несчастный отец был поражен выше сил своих. В изнеможении опустился он на кресло подле кровати и вскрикнул, с отчаянием обращаясь к жене своей:

— Уморила, ты уморила дочь-то... Дура ты этакая! — И больше ничего не мог он выговорить.

Барвара Николаевна тоже не могла сказать слова от внутреннего волнения и отвечала мужу только глухим стоном, в котором выразилась вся ее горечь и гнев, — и продолжала рыдать.

Семен Андреич сидел, закрыв лицо руками, и тоже, кажется, плакал. Первым движением его было открыть жене все и горькими упреками осыпать ее невежество и суверия, которые заставили ее тотчас принять болезнь Наденьки за холеру... Но потом ему стало жаль ее. К чему, думал он, стану я тиранить ее? Что за польза, если она узнает, что была убийцею своей дочери?.. Только ей мученье на весь век. И решился Семен Андреич молчать во всю жизнь о страшном и горестном деле.

Все попечения, все средства, все знания N-ских докторов, которых созывали к Наденьке чуть не семь раз на консилиум, не помогли. Быстро развилась нервическая горячка, и не мог выдержать ее этот слабый, воздушный организм. Через неделю ужасной агонии не стало на божьем свете еще одного прелестного создания.

Поразительна была эта кончина, и много грусти навевала она даже на душу постороннего зрителя. Перед смертью возвратилась к Наденьке вся ясность ума ее, вся сила ее чувств и воспоминаний. Кроме отца с матерью, у постели умирающей был и жених — бледный, дрожащий, заплаканный, не смея поднять глаз ни на невесту, ни на ее родителей.

Тихо и торжественно простилась она с отцом, который благословил ее и обнял — крепко, крепко... Когда он отнял лицо свое, оно было орошено слезами... Молча, с какой-то сосредоточенной грустью стал он у изголовья больной. Жарки были объятия матери. Крепко прильнуло воспаленное, исхудалое личико больной к сморщенному лицу старушки; долго сжимали ее щею костенеющие руки, долго не могли оторваться от сухих губ ее распаленные губки умирающей.

— Маменька, маменька, простите, я сама во всем виновата, — шептала она.

— Полно, душечка, милая моя... бог милостив, — говорила мать, не зная сама, что говорит.

— Нет, простите меня, маменька, я вас обманула.

— Прости ты меня, моя нечаглядная, дорогая, милая моя, — лепетала старушка, прерывая рыданиями свои слова.

В другом роде было прощание жениха. Он подошел к невесте, будто преступник, осужденный на казнь, и вдруг, упав на колени перед ее постелью, закричал, залившись слезами:

— Простишь ли ты меня? Можно ли простить такое зверство?

— Я сама во всем виновата, — едва слышно шептала умирающая...

— Нет, я сам себя не грошу, — вскричал он неистово и, вскочивши, начал рвать на себе волосы и стучаться головою об стену. Его вывели из комнаты больной, отправили на свежий воздух — там принялись ухаживать за ним, стараясь привести его в себя разными гидропатическими средствами.

Великолепные похороны справлены были в доме Быстрицких. Отец был мрачен и не хотел видеть Тропова. Старушка Быстрицкая, окруженная

иногда, особенно, в вечер, когда свет на улице  
и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне  
иногда, особенно, в вечер, когда свет на улице  
и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне

Вспомнил, что поговорила с ним, когда он был в  
позднейшей части вечера, и не сомневался, что он  
был в состоянии, особенно, в вечер, когда свет на  
улице и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне

иногда, особенно, в вечер, когда свет на улице  
и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне  
иногда, особенно, в вечер, когда свет на улице  
и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне

иногда, особенно, в вечер, когда свет на улице  
и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне  
иногда, особенно, в вечер, когда свет на улице  
и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне

иногда, особенно, в вечер, когда свет на улице  
и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне  
иногда, особенно, в вечер, когда свет на улице  
и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне

иногда, особенно, в вечер, когда свет на улице  
и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне  
иногда, особенно, в вечер, когда свет на улице  
и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне

иногда, особенно, в вечер, когда свет на улице  
и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне  
иногда, особенно, в вечер, когда свет на улице  
и в комнатах, освещенный светом. Он казался мне

*Handwritten signature*

толпою родственниц и знакомых в черных платьях и белых чепцах... Всклипывая, рассказывала она о добродетелях своей дочери, о блестящем будущем, какое готовил ей жених, о предсказании старой гадалщицы и о том, как ей прежде никто не хотел верить. В кружке часто слышались голоса:— Уж так видно на роду написано... От божьей воли не уйдешь... Что делать, на весь город, да и не на один еще, наслал бог такое горе: надо терпеть. Надо сказать, уже не от вашего нерадения померла...

— Ах, матушки, от моего нерадения!.. Уж я ли не берегла ее, я ли не лелеяла, и ведь еще бог меня будто предостерегал: знала ведь я, что случится с ней этакое, все заблаговременно и приготовила... Вот ведь и свадьбы до сих пор поэтому не было; давно жених сидел... Да не судил Господь! Что делать... божья воля!..

Но старушка не могла выдержать этой роли смиренной покорности. Она вдруг зарыдала сильнее и закричала:— Господи! За что ты меня так наказываешь?— И долго, долго плакала бедная женщина, не понимая вины своей...

Семен Андреич остался верен себе: ни слова не сказал жене о том, что знал и что ему самому так разрывало сердце. Зато через несколько дней пришел он к Тропову и осыпал его такими жесткими, такими грубыми и жаркими упреками, что бедный молодой человек расплакался и начал проклинать свою безнадежную жизнь... Быстрицкий смягчился и стал говорить ему тоном, более кротким. Но при этом бешенство Тропова дошло до невероятной силы: он чуть было не выскочил в окошко... Семен Андреич ушел от него, весьма мало успокоенный в своей потере...

До сих пор еще бедная мать со слезами вспоминает и долго еще, вероятно, будет вспоминать об умершей своей дочери.— Что делать!.. Господня воля, стало быть, была на то — всегда замечает она наконец... — Уж нами средства всевозможные были приложены... Богу не угодно было; против бога ничего уж не сделаешь... Конечно ей там лучше; бог знает, что делает... А горько, куда горько мне... — и залетя слезами бедняжка и плачет уже не час, и не два, а целый день насквозь...

Всех скорее утешился Тропов. Через две недели он, довольно спокойный, даже почти веселый, поехал из N обратно в Петербург. В N носились даже слухи, что проездом через Москву он женился на какой-то богатой купчихе, вдобавок ко всем достоинствам своим хромоногой... Но редко случается, о читатель, чтобы люди сказали вдруг две правды. Поэтому я советую верить разве которому-нибудь одному из этих известий, — или тому, что Тропов действительно женился, или тому, что жена его хромонога...

## ОТ РЕДАКЦИИ

Рукопись рассказа «Провинциальная холера» представляет собой черновик, в некоторых местах очень неразборчивый; особенно трудны для прочтения первые страницы. Не считая целесообразным давать в нашем издании точную транскрипцию текста, мы стремились всюду придерживаться окончательной редакции, опуская зачеркнутые места, восстанавливая недописанные слова, и т. д. Все слова, восстановленные по догадке, заключены в тексте в квадратные скобки.

Кроме того рукопись носит явные следы чьего-то дополнительного просмотра. Так в разных местах над отдельными словами другим почерком надписаны другие слова, снабженные знаком вопроса. В других местах встречаются писанные также не Добролюбовым обращенные к автору вопросы и советы. Поскольку авторство этих правок и замечаний установить не удалось, все они в тексте опущены.

## КОММЕНТАРИИ

Материалы для биографии Н. А. Добролюбова были собраны Н. Г. Чернышевским еще в 1861 г., вскоре после смерти Добролюбова. Некоторая часть их тогда же была использована им в его статье о Добролюбове, помещенной в январской книжке «Современника» за 1862 г. (стр. 262—264, 275—282).

Последовавший вскоре арест и затем ссылка в Сибирь прервали эту его работу, и лишь только в 1883 г. после перевода из Сибири на жительство в Астрахань Чернышевский получил возможность снова пересмотреть собранные им материалы; биография Добролюбова должна была стать одной из его ближайших работ. Но раньше чем приступить к этому труду, он решил разработать материалы, которые, помимо его личных воспоминаний о Добролюбове, дали бы главную основу для этой биографии.

К этой работе был привлечен Чернышевский и я<sup>1</sup>.

По составленному им в 1887 г. плану, сначала в Астрахани, а потом в Саратове я приводил в систематический порядок и переписывал письма, которые должны были войти в I том «Материалов для биографии Добролюбова», а также и тот литературный материал, который предполагалось поместить во II томе. Большая часть этого материала, как то: стихотворения, повести, заметки и т. п. были скопированы в двух экземплярах. Работа эта была очень интересная, но в то же время и кропотливая. Многие заметки и статьи Добролюбова, в особенности относящиеся к периоду 1850—1853 гг., были написаны на бумаге весьма плохого качества, очень грубой, шероховатой, так называемой серой бумаге. Чернила, которыми писал Добролюбов, были тоже какие-то бледнорыжие и в некоторых местах рукописей от времени до того выцветшие и бледные, что едва были заметны при первом взгляде. Встречались целые страницы, на которых нельзя было прочесть ни одной строчки, не всматриваясь в них с большим вниманием. В особенности много времени было потрачено Чернышевским и мною на просмотр реестров прочитанных Добролюбовым книг и некоторых его юношеских литературных произведений, о чем свидетельствует и сам Чернышевский: «Некоторые из бледных прочтены К. М. Федоровым, не жалевшим утомлять свое превосходное зрение над делом, которое он полюбил, умея ценить значение Добролюбова в русской литературе» («Материалы», т. I, стр. 670).

Смерть Чернышевского (в ночь с 29 на 30 октября 1889 г. в Саратове) помешала ему осуществить намеченный план издания «Материалов для биографии Добролюбова», обработанный и прочитанный им в корректуре (27 печатных листов; остальные листы были потом прокорректированы А. Н. Пыпиным). Первый том был издан в 1890 г. издательством К. Т. Солдаткова в Москве. Этот том, заключающий в себе чрезвычайно обстоятельный обзор всех писем (1850—1857 гг.) и бумаг нижегородского времени (1844—1853 гг.) с примечаниями Чернышевского, доказывает, с какой внимательностью он относился к своему труду и с какою любовью сохранял малейшие подробности о жизни безвременно погибшего писателя, бывшего самой сильной его привязанностью.

Для II тома «Материалов для биографии Добролюбова» Чернышевским были предназначены помимо его личных воспоминаний о Добролюбове воспоминания родных и знакомых, дневник Добролюбова 1852—1853 гг. и все неизданные его юношеские литературные опыты за время 1850—1853 гг., при чем некоторые из них Чернышевский предполагал дать не полностью, а поместить лишь в кратком изложении.

Из неизданных юношеских стихотворений Добролюбова должны были быть помещены в II томе следующие: «Двумужница» (1850 г.), «Предчувствие» (1850 г.), «К неразрезанному журналу» (1850 г.), «Надежды» (1850 г.), «Желание славы» (1850 г.), «Импровизация» (1850 г.), «Насмешка» (1850 г.), «Стремление вперед» (1850 г.), «Весеннее утро» (1850 г.), «Ф. А. Ц.» (1851 г.)<sup>2</sup>.

Кроме того во II томе предполагалось поместить и рукописные журналы Добролюбова семинарского и институтского периода, как то: «Слухи», «Сплетни», сборник литературных новостей и городских слухов под названием «Закулисные тайны русской литературы» (1855—1856 гг.), «Психаториум» (Перечисление своих грехов и сокрушение в них). Из «Психаториума» Чернышевский взял только три страницы, остальные уничтожил, сделав на первом листе надпись: «Остальные листы этого вздора я бросил как ненужные. Довольно и этого образца!» Впервые извлечения из «Психаториума» были приведены в статье Чернышевского о Добролюбове в 1862 г. в январской книжке «Современника» (стр. 262—264).

Для этого II тома предназначалась и неизданная повесть Добролюбова «Провинциальная холера», которую Чернышевский предполагал поместить не полностью, а лишь

<sup>1</sup> У Чернышевского я работал с 1885 г. по 1889 г.—по день его смерти; писал под диктовку перевод «Всемирной истории Вебера» и другие его литературные работы, исполняя в то же время секретарские обязанности.

<sup>2</sup> Эти стихотворения были впоследствии использованы С. Абакумовым в его статье «Юношеские стихотворения Н. А. Добролюбова» (по неизданным материалам). Статья эта была помещена в «Казанском Библиофиле» 1923 г., № 4, стр. 11—17.

в кратком ее изложении. О времени ее написания Добролюбовым Чернышевский не был твердо уверен, и потому после прочтения ее он сделал на последней странице пометку: «1853 г.», поставив рядом с цифрами знак вопроса. «Возможно, — говорил он мне, — что повесть эта, написанная Добролюбовым в 1853 году в Нижнем Новгороде, была впоследствии переделана в ту самую повесть, которую Добролюбов прислал в редакцию «Современника» в 1855 г. Не одобренная ни Некрасовым, ни Панаевым, она была возвращена Добролюбову обратно. Преподанный при этом совсем неуместный Панаевым совет Добролюбову: «Лучше прилежнее готовить свои уроки, чем тратить время на сочинение негодных повестей» очень огорчил тогда Добролюбова».

По смерти Чернышевского весь подготовленный, но не обработанный материал II тома был вывезен из Саратова сыном Чернышевского Михаилом Николаевичем в Петербург. Продолжать этот труд взял на себя А. Н. Пыпин, но выполнить его он не смог, как говорят, за неимением свободного времени; кроме того против этого издания, подготовленного Чернышевским, был брат Н. А. Добролюбова В. А. Добролюбов, и потому все подлинные материалы были М. Н. Чернышевским переданы Литературному Фонду, за исключением рукописи «Провинциальная холера», которая осталась случайно у меня с некоторыми другими бумагами Чернышевского.

Рассчитывая получить разрешение на печатание этой повести от наследников Н. А. Добролюбова, я в 1895 г. поместил в издаваемой мною газете — «Закаспийском Обозрении» — следующее объявление:

«От редакции. В течение 1896 г. в нашей газете будет помещена еще нигде не напечатанная до сих пор повесть известного писателя Н. А. Добролюбова под названием «Провинциальная холера». Повесть эта, как имеющая интерес при составлении биографии покойного, несомненно составит ценный вклад в сокровищницу нашей русской литературы. Всем подписчикам «Закаспийского Обозрения» будет разослано фaksimиле одной из страниц этой повести».

После появления этого объявления мною 14 ноября 1895 г. была получена от В. А. Добролюбова следующая телеграмма:

«Асхабад. Издателю «Закаспийского Обозрения» Федорову. Будучи единственным наследником Николая Александровича Добролюбова, печатание его произведений воспрещаю. Иначе прибегну суду. Добролюбов. Подпись удостоверена нотариусом».

А днем раньше в канцелярии начальника Закаспийской области была получена от В. А. Добролюбова телеграмма на имя начальника Закаспийской области генерала Куропаткина такого содержания:

«Будучи единственным наследником Николая Александровича Добролюбова, покорнейше прошу защитить мои права воспрещением издателю «Закаспийского Обозрения» печатать произведения моего брата. Добролюбов. Подпись удостоверена нотариусом».

В результате я получил через цензора отношение, где сообщалось, что «его превосходительство командующий войсками просит, во избежание могущих возникнуть недоразумений, воздержаться от печатания повести «Провинциальная холера».

Разумеется, повесть не была напечатана.

Через 7 лет после этого — в конце 1903 г. — я получил от В. А. Добролюбова письмо с просьбой передать повесть для напечатания в выпускаемом тогда книгоиздательством П. П. Сойкина собрании сочинений Добролюбова.

Но в то время подлинной рукописи на руках у меня не было, так как я оставил ее у знакомых в Астрахани при отъезде оттуда. Я запросил их, но ответа не получил. Оказалось, что они ликвидировали все свои издательские дела и выехали из Астрахани неизвестно куда. И только в 1914 г. я узнал, что оставленные мною рукописи Чернышевского были проданы М. Н. Чернышевскому, а повесть «Провинциальная холера» — И. Лысенко, от которого я и приобрел ее вторично (в номере «Закаспийского Обозрения» от 17 ноября 1911 г. я все-таки напечатал фaksimиле первой страницы повести).

Но издать «Провинциальную холеру», равно как и подыскать подходящего издателя, мне не удалось. Редактируемая мною в Ташкенте газета «Туркестан» благодаря беспрепятственному штрафу и административным взысканиям должна была прекратить свое существование, а сам я не имел средств, чтобы издать ее самостоятельно.

Будучи в 1917 г. в Москве, я, не имея возможности долго оставаться в ней, поручил моему сыну А. Федорову подыскать или в Ленинграде или в Москве подходящего издателя.

Гражданская война и интервенция с ее многочисленными фронтами надолго разъединили меня с сыном: я жил в Ташкенте. И лишь только в 1923 г. я получил возможность восстановить связь с ним. Несмотря на непрерывные его поездки с одного края СССР на другой, рукопись повести «Провинциальная холера» уцелела и теперь впервые появляется в свет.

К. Федоров